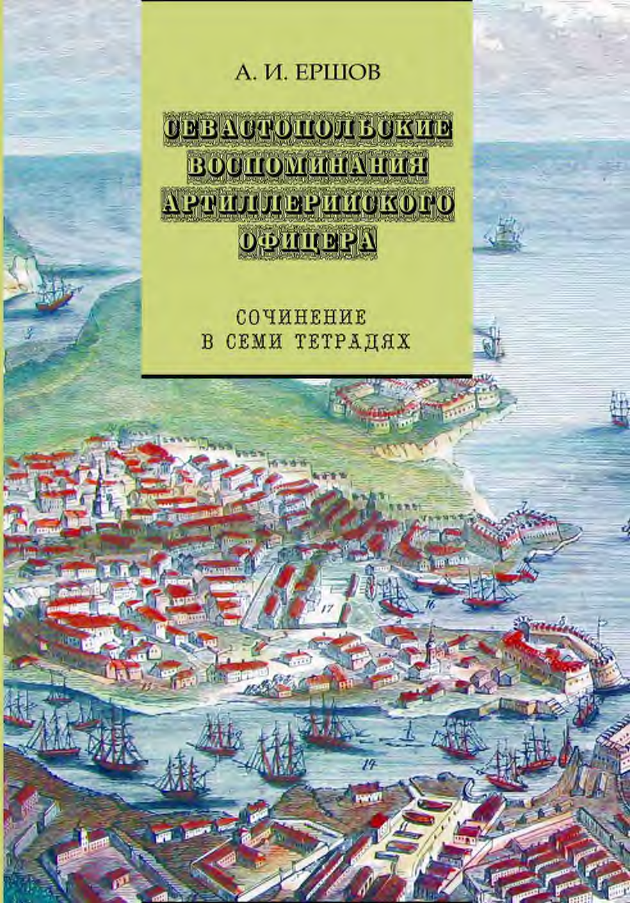


А. И. ЕРШОВ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРА

СОЧИНЕНИЕ
В СЕМИ ТЕТРАДЯХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РОССИИ

Вглядываясь в прошлое

А. И. Ершов

Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера

Сочинение в семи тетрадях

Москва
2015

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)47
Е 80

Печатается по изданиям:

Ершов А.И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера: сочинение в семи тетрадях / А.И.Ершов. — СПб.: Изд. А.С.Суворина, 1891. — 254, [4] с.

Толстой Л.Н. О войне: [По поводу книги А.И.Ершова „Севастопольские воспоминания"]/ Л.Н.Толстой. — М.: Посредник, [1906]. — 8, [3] с.: портр.

Ершов А.И.

Е 80 Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера: сочинение в семи тетрадях / А.И.Ершов; предисл., коммент. А.М.Савинова; предисл. Л.Н.Толстого; Гос. публ. ист. б-ка России. — М., 2015. — 196 с. — (Вглядываясь в прошлое).

ISBN 978-5-85209-362-2

Воспоминания повествуют о жизни защитников города Севастополя в течение полугода, до его окончательной сдачи неприятелю. Заканчивается книга штурмом Малахова кургана, после чего наши войска оставляют Южную сторону Севастополя.

В 1857 г. это сочинение вышло в журнале „Библиотека для чтения", а в 1858 и 1891 гг. издавалось отдельной книгой. Специально по просьбе автора — участника крымских событий Андрея Ивановича Ершова (1834/35—1907) — Л.Н.Толстой написал предисловие к его книге, однако, ни в одну из публикаций текст Л. Толстого с его пацифистскими взглядами так и не был включен. Он был издан только в 1902 г. как статья в сборнике под заглавием „Против войны" последователем Льва Толстого Владимиром Чертковым в Англии, а в России появился только в 1911 г. С предисловием Л.Н.Толстого издание публикуется впервые.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-85209-362-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцатилетним прапорщиком ехал Андрей Иванович Ершов в декабре 1854 г. в осажденный Севастополь. Романтически настроенный недавний выпускник Михайловского училища мечтал влиться в ряды защитников города, узнать войну изнутри и, возможно, добыть боевую славу. „С трепещущим сердцем, весь отдавшись какой-то непонятной радости, охватившей весь состав мой, и в которой не мог я дать себе отчета, с самодовольствием почти детским, но все-таки возвышающим душу, каждую минуту говоря себе, что вот скоро-скоро на самом деле я буду действующим лицом величайшей военной драмы, — подъезжал я к Севастополю в глухую декабрьскую полночь. До сих пор радостно мне вспомнить об этой ночи, хотя я прожил много с того времени, видел крови больше, чем мог ожидать, — и, конечно, навсегда отдалился от первых впечатлений моей порывистой молодости“*.

Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее и страшнее. Уже в первый день пребывания в Севастополе молодому офицеру довелось увидеть изуродованного осколком солдата, и его радужное настроение моментально улетучилось. „Со мной сделался нравственный переворот: меня разом оставили все радужные мечты поэзии, — пишет автор, — все одуряющие картины боя, так привлекательные вдали от действительных ужасов войны. Мне стало жутко, больно, страшно за себя, стыдно за свою прапорщичью восторжен-

---

* Ершов А.И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера. СПб., 1891. С 3.

ность. Молча, как бы с застывшим сердцем, прошел я мимо дома страждущих героев“[*].

Так началась боевая служба А.И. Ершова. День за днем, преодолевая страх смерти, постигал он нелегкую науку войны. Ему довелось побывать на многих участках обороны города: на батарее Жерве, на Малаховом кургане, на 4-м и 5-м бастионах. И каждое из этих мест мемуарист подробно описывает — и окружающую природу, и оборудование укреплений, и временные укрытия для солдат и офицеров. А условия пребывания защитников на позициях были далеко не идеальны. Один из участников обороны Севастополя, адъютант генерала С.А. Хрулева М.А. Вроченский писал в своих воспоминаниях: „Казалось бы, что, находясь в своей земле, имея свободными сообщения с империей, мы само собой должны были находиться в лучшем положении, но на деле было далеко не так. Когда из-за тридевять земель французам и англичанам была доставлена теплая одежда, даже теплые бараки, наши солдаты всю зиму пробавлялись в своих истасканных шинелишках, добавляя к ним, и то на собственные гроши, рогожи, которые надевали себе в виде ризы на плечи, а во время дождя даже на голову, образуя громадный башлык. Этот наряд, видимый издалека, приводил в недоумение неприятелей, никак не могших разрешить вопроса — что это за особый род военного костюма в русской армии… Медицинская часть была ниже критики; при недостатке врачей имелось во всех госпиталях Крыма всего 4 тыс. мест, а за первые два месяца войны мы имели более 10 тыс. раненых; представляется каждому судить о безнадежном положении этих страдальцев. После Алминского сражения огромное число раненых были брошены без помощи на поле сражения, а после Инкерманского сражения огромное число раненых, доставленных на Северную сторону, долго валялось без приюта и без помощи“[**]. Но несмотря на это, и знаменитые

---

[*] Ершов А.И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера. СПб., 1891. С 10.

[**] Вроченский М.А. Севастопольский разгром: воспоминания участника славной обороны Севастополя. М., 2011. С. 30—31.

герои обороны, такие как П.С. Нахимов, Н.Д. Тимофеев, С.А. Хрулев, и тысячи безвестных офицеров и солдат честно выполняли свой долг.

А.И. Ершов провел в Севастополе восемь месяцев. Он находился там в одно время с Л.Н. Толстым. Не исключено, что, бывая на 4-м бастионе, Андрей Иванович встречался с автором „Севастопольских рассказов“. В их военной судьбе много общего. У них небольшая разница в возрасте (Толстой родился в 1828 г., а Ершов — в 1834 г.), оба они добровольно отправились на войну „из патриотизма“, оба находились в невысоких чинах. „Севастопольские рассказы“ Л.Н. Толстого и „Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера“ А.И. Ершова вышли с разницей всего в два года.

В начале 1889 г. Ершов обратился к Льву Николаевичу с просьбой написать предисловие ко второму изданию книги „Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера“. Дело продвигалось медленно: дневниковые записи Толстого позволяют установить даты его работы над предисловием. Первая редакция была завершена 14 января 1889 г., вторая — 10 февраля, третья писалась 18 и 22 февраля, четвертая и последняя — 10 марта. Прошел год, и в январе 1890-го дочь писателя Мария Львовна просила сестру Татьяну поискать в хамовническом доме Толстых „начатое предисловие к рассказам о Севастополе Ершова“.

В итоге издание „Севастопольских воспоминаний артиллерийского офицера“ вышло без предисловия. Возможно, его не стали печатать по цензурным соображениям из-за явной пацифистской направленности этого материала, что противоречило официальной патриотической идеологии. В тот период Лев Николаевич был уже целиком поглощен новыми религиозно-этическими идеями. Под их влиянием Толстой начал проповедовать в своих работах всепрощение, непротивление злу насилием, отказ от вражды с любым народом. Государственная цензура, в свою очередь, тщательно отслеживала все „разоблачительные“ материалы о войне и действовала так не только для соблюдения справедливости исторических фактов. В годы правления Александра II смягчение цензуры позволило возникнуть множе-

ству революционных кружков, в которых лучшим средством достижения цели считался террор. Александр III, потерявший отца, погибшего от рук народовольцев, отказался от либерального курса и придерживался консервативно-охранительной политики. Вполне естественно, что в этих условиях под запрет попали и поздние статьи Л.Н. Толстого с его призывами к уклонению от государственных обязанностей и от военной службы. Идеи пацифизма не могли быть приняты в России даже в правление царя-миротворца Александра III, между прочим автора знаменитого изречения о том, что у России только два надежных союзника — ее армия и ее флот.

Предисловие Толстого к мемуарам А.И. Ершова было опубликовано лишь в 1902 г. в Англии последователем Льва Николаевича В. Чертковым. В России же оно появилось в 1906 г. под заглавием „О войне". В нем события обороны Севастополя, описанные Ершовым, представлены не как общее дело, а как нравственная пытка для защитников. Писатель акцентирует внимание на страхе рассказчика, о чем, впрочем, сам молодой прапорщик пишет достаточно откровенно. Далее автор предисловия придумывает для Ершова образ нежного юноши, которого якобы заставили убивать ничем не обидевших его братьев, т.е. „делать самые противоестественные дела в мире". И он вынужден их делать, чтобы избежать наказания и стыда. Вряд ли сам участник обороны Севастополя стал бы называть своих тогдашних противников — французов и англичан „ничем не обидевшими братьями". Хотя неприятель в его воспоминаниях не выглядит кровожадным убийцей и заметно даже сочувствие автора ко многим из них, все же сам Ершов далек от пацифизма. Он знает, за что сражается, и сознает свой офицерский долг.

Вскоре после окончания Крымской войны Андрей Иванович Ершов оставил военную службу и поселился в Петербурге. Заведовал метахромотипией, участвовал в походах Гарибальди на Рим, позже жил литературным трудом и частными уроками. Его „Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера" можно было бы назвать подражательством „Севастопольским рассказам" Л.Н. Толстого, если

бы они претендовали на художественную форму. Хотя в мемуарах Ершова достаточно авторских душевных переживаний и образных описаний природы, все же тщательная фиксация дат, жесткая привязка к реальным событиям, отсутствие сюжета и ярких характерных персонажей оставляют это произведение в ряду хроник, имеющих чисто историческую ценность.

А.М. Савинов,
кандидат исторических наук

Л.Н. Толстой

О войне.
По поводу книги А.И. Ершова „Севастопольские воспоминания“

А.И. Ершов прислал мне свою книгу „Севастопольские воспоминания“ и просил прочесть и высказать произведенное этим чтением впечатление.

Я прочел книгу, и высказать произведенное на меня этим чтением впечатление мне очень хочется, потому что впечатление это очень сильное. Я переживал с автором пережитое и мною 34 года тому назад. Пережитое это было и то, что описывает автор, — ужасы войны, но и то, чего почти не описывает автор, — то душевное состояние, которое при этом испытал автор.

Мальчик, только что выпущенный из корпуса, попадает в Севастополь. Несколько месяцев тому назад мальчик этот был радостен, счастлив, как бывают счастливы девушки на другой день после свадьбы. Только вчера, кажется, это было, когда он обновил офицерский мундирчик, в который опытный портной подложил, как надо, ваты под лацканы, распустил толстое сукно и погоны, чтобы скрыть юношескую, не сложившуюся еще детскую грудь и придать ей вид мужества; вчера только он обновил этот мундир и поехал к парикмахеру, подвил, напомадил волосы, подчеркнул фиксатуаром пробивающиеся усики и, гремя по ступенькам шашкой на золотой портупее, с фуражкой на бочку, прошел по улице. Уже не сам он оглядывается, как бы не пропустить, не отдав чести офицеру, а его издалека видят нижние чины, и он небрежно прикасается к козырьку или командует;

„Вольно!“ Вчера только генерал, начальник, говорил с ним серьезно, как с равным, и ему так, несомненно, представлялась блестящая военная карьера. Вчера, кажется, только няня удивлялась на него, и мать умилялась и плакала от радости, целуя и лаская его, и ему было и хорошо, и стыдно. Вчера только он встретился с прелестной девушкой; они говорили о пустяках, и у обоих морщились губы от сдержанной улыбки; и он знал, что она, да и не она одна, а сотни, и еще в 1000 раз лучше ее, могли, да и должны были полюбить его. Все это, казалось, было вчера. Все это, может быть, было и мелочно, и смешно, и тщеславно, но все это было невинно и потому мило.

И вот он в Севастополе. И вдруг он видит, что что-то не то, что что-то делается не то, совсем не то. Начальник спокойно говорит ему, чтобы он, — тот самый человек, которого так любит мать, от которого не она одна, но и все так много ожидали хорошего, — он, со всей своей телесной и душевной, единственной, несравненной красотой, чтобы он шел туда, где убивают и калечат людей. Начальник не отрицает того, что он — тот самый юноша, которого все любят и которого нельзя не любить, жизнь которого для него важнее всего на свете, — он не отрицает этого, но спокойно говорит: „Идите, и пусть вас убьют“. Сердце сжимается от двойного страха: страха смерти и страха стыда, — и, делая вид, что ему совершенно все равно, идти ли на смерть или оставаться, он собирается, притворяясь, что ему интересно то, зачем он идет, и его вещи, и постель. Он идет в то место, где убивают, идет и надеется, что это только говорят, что там убивают, но что, в сущности, этого нет, а как-нибудь иначе это делается. Но стоит пробыть на бастионах полчаса, чтобы увидать, что это, в сущности, еще ужаснее, невыносимее, чем он ожидал. На его глазах человек сиял радостью, цвел бодростью. И вот шлепнуло что-то, и этот же человек падает в испражнения других людей — одно ужасное страдание, раскаяние и обличение всего того, что тут делается. Это ужасно, но не надо смотреть, не надо думать. Но нельзя не думать. То был он, а сейчас буду я. Как же это? Зачем это? Как же я, я, тот самый я, который так хорош, так мил, так

дорог был там не одной няне, не одной матери, не одной ей, но стольким, почти всем людям? Дорогой еще, на станции, как они полюбили меня, и как мы смеялись, как они радовались на меня и подарили мне кисет. И вдруг здесь не то что кисет, но никому не интересно знать, как, когда искалечат мое все это тело, эти ноги, эти руки, убьют, как убили вон того. Буду ли я нынче одним из этой тысячи — никому не интересно; напротив, даже желательно как будто. Да, я, именно я, никому здесь не нужен. А если я не нужен, так зачем я здесь? — задает он себе вопрос и не находит ответа. Добро бы кто-нибудь объяснил, зачем все это, или если хоть не объяснил, то сказал бы что-нибудь возбуждающее. Но никто никогда не говорит ничего такого. Да, кажется, и нельзя этого говорить. Было бы слишком совестно, если бы кто-нибудь сказал такое. И оттого никто не говорит. Так зачем же, зачем же я здесь? — вскрикивает мальчик сам с собою, и ему хочется плакать. И нет ответа, кроме болезненного замирания сердца. Но входит фельдфебель, и он притворяется... Время идет. Другие смотрят, или ему кажется, что на него смотрят, и он делает все усилия, чтобы не осрамиться. А чтобы не осрамиться, надо делать, как другие: не думать, курить, пить, шутить и скрывать. И вот проходит день, другой, третий, неделя... И мальчик привыкает скрывать страх и заглушать мысль. Ужаснее всего ему то, что он один находится в таком неведении о том, зачем он здесь, в этом ужасном положении; другие, ему кажется, что- то знают, и ему хочется вызвать других на откровенность. Он думает, что легче бы было сознаться в том, что все в том же ужасном положении. Но вызвать других на откровенность в этом отношении оказывается невозможным; другие как будто боятся говорить про это, так же, как и он. Говорить нельзя про это. Надо говорить об эскарпах, контр-эскарпах, о портере, о чинах, о порционах, о штоссе — это можно. И так идет день за днем, юноша привыкает не думать, не спрашивать и не говорить о том, что он делает, и, не переставая, чувствует, однако, то, что он делает что-то совсем противное всему существу своему. Так это продолжается семь месяцев, и юношу не убило и не искалечило, и война кончилась.

Страшная нравственная пытка кончилась. Никто не узнал, как он боялся, хотел уйти и не понимал, зачем он здесь оставался. Наконец, можно вздохнуть, опомниться и обдумать то, что было. Что ж было? Было то, что в продолжение семи месяцев я боялся и мучился, скрывая от всех свое мучение. Подвига, т.е. поступка, которым бы я мог не то что гордиться, но хоть такого, который бы приятно вспомнить, не было никакого. Все подвиги сводились к тому, что я был пушечным мясом, находился долго в таком месте, где убивало много людей и в головы, и в грудь, и в спину, и во все части тела. Но это мое личное дело. Оно могло быть не выдающимся, но я был участником общего дела. Общее дело? Но в чем оно? Погубили десятки тысяч людей. Ну, и что же? Севастополь, тот Севастополь, который защищали, отдан, и флот потоплен, и ключи от Иерусалимского храма остались у кого были, и Россия уменьшилась. Так что ж? Неужели только тот вывод, что я по глупости и молодости попал в то ужасное, безвыходное положение, в котором был семь месяцев, и, по молодости своей, не мог выйти из него? Неужели только это?

Юноша находится в самом выгодном положении для того, чтобы сделать этот неизбежный логический вывод: во-первых, война кончилась постыдно и ничем не может быть оправдана (нет ни освобождения Европы или болгар или т.п.); во-вторых, юноша не заплатил такую дань войне, как калечество на всю жизнь, при котором уже трудно признать ошибкой то, что было причиной его. Юноша не получил особенных почестей, отречение от которых связывалось бы с отречением от войны; юноша мог бы сказать правду, состоящую в том, что он случайно попал в безвыходное положение и, не зная, как выйти из него, продолжал находиться в нем до тех пор, пока оно само развязалось.

Юноше хочется сказать это, и он непременно прямо сказал бы это. Но вот сначала с удивлением юноша слышит вокруг себя толки о бывшей войне не как о чем-то постыдном, какою она ему представляется, а как о чем-то не только весьма хорошем, но необыкновенном; слышит, что защита, в которой он участвовал, — было великое историческое собы-

тие, что это была неслыханная в мире защита, что те, кто были в Севастополе, и он — герои из героев, и что то, что он не убежал оттуда, так же, как и артиллерийская лошадь, которая не оборвала недоуздка и не ушла, что в этом — великий подвиг, что он — герой. И вот, сначала с удивлением, потом с любопытством, мальчик прислушивается и теряет силу сказать всю правду — не может сказать против товарищей, выдать их; но все-таки ему хочется сказать хоть часть правды, и он составляет описание того, что он пережил, в котором юноша старается, не выдавая товарищей, высказать все то, что он пережил. Он описывает свое положение на войне, — вокруг него убивают, он убивает людей, ему страшно, гадко и жалко. На самый первый вопрос, приходящий в голову каждому: зачем он это делает? зачем он не перестанет и не уйдет? — автор не отвечает. Он не говорит, как говорили в старину, когда ненавидели своих врагов, как евреи — филистимлян, что он ненавидит союзников; напротив, он кое-где показывает свое сочувствие к ним как к людям-братьям. Он не говорит тоже о своем страстном желании добиться того, чтобы ключи Иерусалимского храма были бы в наших руках, или даже, чтобы флот наш был или не был. Вы чувствуете, читая, что вопросы жизни и смерти людей для него несоизмеримы с вопросами политическими. И читатель чувствует, что на вопрос: зачем автор делал то, что делал? — ответ один: затем, что меня смолоду или перед войной забрали, или я случайно, по неопытности, сам попал в такое положение, из которого я без больших усилий не могу вырваться. Я попал в это положение; и тогда, когда меня заставили делать самые противоестественные дела в мире, — убивать ничем не обидевших меня братьев, — *я предпочел это делать, чем подвергнуться наказаниям и стыду*. И, несмотря на то, что в книге делаются краткие намеки на любовь к царю, к отечеству, чувствуется, что это — только дань условиям, в которых находится автор. Несмотря на то, что подразумевается, что так как жертвовать своею целостью и жизнью — хорошо, то все те страдания и смерти, которые встречаются, служат в похвалу тем, которые их переносят, чувствуется, что автор знает, что это неправда, пото-

му что он свободно не жертвует жизнью, а при убийстве других невольно подвергает свою жизнь опасности. Чувствуется, что автор знает, что есть закон Божий: люби ближнего и потому не убий, — который не может быть отменен никакими человеческими ухищрениями. И в этом — достоинство книги. Жалко только, что это только чувствуется, а не сказано прямо и ясно. Описываются страдания и смерти людей, но не говорится о том, чтó производит их. 35 лет тому назад и это хорошо было, но теперь уже нужно другое. Нужно описывать то, что производит страдания и смерти войн для того, чтобы узнать, понять и уничтожить эти причины.

„Война! Как ужасна война со своими ранами, кровью и смертями!“ — говорят люди. — „Красный Крест надо устроить, чтобы облегчить раны, страдания и смерть“. Но ведь ужасны в войне не раны, страдания и смерть. Людям, всем, вечно страдавшим и умиравшим, пора бы привыкнуть к страданиям и смерти и не ужасаться перед ними. И без войны мрут от голода, наводнений, болезней повальных. Страшны не страдания и смерть, а то, что позволяет людям производить их.

Одно словечко человека, просящего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего: „Хорошо, пожалуйста, повесьте“, — одно словечко это полно смертями и страданиями людей. Такое словечко, напечатанное и прочитанное, несет в себе смерти и страдания миллионов. Не страдания и увечья, и смерть телесную надо уменьшать, а увечья и смерть духовную. Не Красный Крест нужен, а простой крест Христов для уничтожения лжи и обмана…

Я дописывал это предисловие, когда ко мне пришел юноша из юнкерского училища. Он сказал мне, что его мучают религиозные сомнения. Он прочел „Великого инквизитора“ Достоевского, и его мучает сомнение: почему Христос проповедовал учение, столь трудноисполнимое. Он ничего не читал моего. Я осторожно говорил с ним о том, что надо читать Евангелие и в нем находить ответы на вопросы жизни. Он слушал и соглашался. Перед концом беседы я заговорил о вине и советовал ему не пить. Он сказал: „Но в военной службе бывает иногда необходимо“. Я думал — для

здоровья, силы, и ждал победоносно опровергнуть его доводами опыта и науки, но он сказал: „Вот, например, в Геок-Тепе, когда Скобелеву надо было перерезать население, — солдаты не хотели, и он напоил их, и тогда...“ Вот где все ужасы войны: в этом мальчике, со свежим молодым лицом и с погончиками, под которыми аккуратно просунуты концы башлыка, с вычищенными чисто сапогами и его наивными глазами и столь погубленным миросозерцанием!

Вот где ужас войны!

Какие миллионы работников Красного Креста залечат те раны, которые кишат в этом слове — произведении целого воспитания!

10 марта 1889 г.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Приезд. — Первое посещение бастионов

Я сам напросился в Севастополь[1] и говорю без преувеличения: день, в который я узнал, что еду на место военных действий, был едва ли не счастливейшим в моей жизни. Что-то непреодолимое влекло меня к Севастополю. Я был очень и очень молод, — я еще не сознавал той великой истины, что настоящий военный человек никуда не просится, ни от чего не отказывается, а тихо делает свое дело везде, где придется. По моим юношеским понятиям, я не мог не рваться к Севастополю всей душой моей.

Быть там, участвовать в знаменитых делах, видеть настоящую войну, о которой я с детства так много читал и думал, — все это ставило меня высоко перед собственными же глазами. И прощанья, и тягостный день отъезда, и холод, и утомительная дорога — все было скрашено мыслью о том, что я еду в Севастополь.

С трепещущим сердцем, весь отдавшись какой-то непонятной радости, охватывавшей весь состав мой, и в которой не мог я дать себе отчета, с самодовольствием почти детским, но все-таки возвышающим душу, каждую минуту говоря себе, что вот скоро-скоро на самом деле я буду действующим лицом величайшей военной драмы, — подъезжал я к Севастополю в глухую декабрьскую полночь. До сих пор радостно мне вспомнить об этой ночи, хотя я прожил много с того времени, видел крови больше, чем мог ожидать, — и, конечно, навсегда отдалился от первых впечатлений моей порывистой молодости.

С наступлением темноты выстрелы стали слышны; отчетливо доносились по ветру перекаты каждого выстрела; нередко в одно время с ними слышался в воздухе глухой треск лопнувшего разрывного снаряда. Бомбы, кидаемые изредка, падучей звездой обозначались на черном фоне ночной дали, а вслед за тем быстрая вспышка огня на мгновение загоралась в том или другом направлении.

Это была настоящая война, это были настоящие бомбы, убивавшие людей и сделанные бог знает где для такой цели.

Жадным взором и слухом следил я за ними, невольно приподымаясь на телеге, вытягивая шею, стараясь все расслышать и разглядеть, с ощущением невероятного душевного волнения.

По мне — меня окружала дивная поэзия. Я никогда не считал себя храбрее других людей, и дальнейший мой рассказ покажет, что не всегда вид опасности пробуждал во мне чувство детского восторга. Но в эту ночь оно было так: мало того, что я не думал о ранах, о смерти, обо всем горе, но я не поверил бы ни во что худое для меня собственно. Даже мысль о том, что я могу быть убит завтра, в своей квартире, при первом обходе укреплений, меня не касалась. Увидеть Севастополь, примкнуть к ряду его защитников — и тотчас же быть убитым — какой вздор! Неужели для этого я ехал так долго и кончаю мой путь так весело?

Итак, вот он, этот знаменитый Севастополь, о котором думает Россия, Европа, весь свет даже! Этот Севастополь, думал я в восторге, в нескольких верстах от меня; я вижу молнии от выстрелов, я слышу отдаленный говор русских, французских, английских пушек! Не далее как завтра я сам проснусь в городе, пойду по бастионам, сделаюсь в самом деле участником защиты Севастополя; нет, все это мне кажется как после разговора о нынешней войне, бредом восторженного мальчика, всю жизнь свою игравшего в солдатики! И я благодарил судьбу за то, что я не сплю, что Севастополь не во сне мне приснился.

Медленно тащила мою повозку тройка, с трудом подаваясь вперед по глубокой топкой грязи, несмотря на то, что я

был один и вся поклажа заключалась в чемодане, складной железной кровати да касачном ящике.

Хотя и по дороге, но, можно сказать, брели мы наудачу, во мгле темной ночи и по совершенной слякоти с рытвинами и ямами, в которые лошади уходили по самую грудь.

Зловоние от лежащей по сторонам падали — следствие неимоверно дурной дороги — в иных местах было нестерпимо. Зажавши нос и сдерживая дыхание, надо было проезжать пространство, зараженное вредными миазмами.

Ямщик мой равнодушно покуривал себе коротенькую трубочку, время от времени постегивая свою усталую, залепленную грязью жалкую тройку, без колокольчика даже.

Проехавши лагерь на Бельбеке[2] и несколько меньших у начала Северной стороны[3], завиделись парусные балаганы, сквозившие светом.

Мы въехали на самую Северную.

Теперь ясно слышался даже треск лопавшихся бомб и гранат, а выстрелы казались как бы чаще.

— А нонече супостат больно поналег; знать, порешение какое выдумывает, — проговорил мой ямщик, запрятывая трубку в голенища.

Ямщиком моим на этот раз был русский мужичок с клинообразной русой бородкой.

Выведенный из раздумья его замечанием, я хотел порасспросить его кой о чем, но он снова заговорил, обратясь ко мне:

— А куды, ваше благородие, заехать-то? На станцию, что ль, аль к маркитану? На станции-то, — прибавил он, — оченно плоховато; почитай что и окошки повыбиты.

Впрочем, и сам я не мог вывести хорошего заключения о севастопольской почтовой станции, зная по опыту, как от непомерного гона расстроены они все с самого Перекопа, а под Севастополем приведены в совершенно жалкое положение.

Ехавши в сторону к Севастополю, начиная со второй или третьей станции перед Симферополем, можно было получить лошадей или каким-то чудом, или же по особому какому ухищрению; например, тайком давая деньги обратному

ямщику, хотя ямщикам, по случаю большого разгона, строжайше запрещено было брать седоков.

Часто многие проезжающие, соскучившись сидеть несколько дней на одной станции, отправлялись в путь, нанимая волов, татарских кляч и даже верблюдов; причем постоянный экипаж был — татарская двухколесная арба, или маджара.

Под пронзительный скрип этой колесницы и отвратительные голоса пары верблюдов пропутешествовал и я целых две станции за тройные, против настоящих, прогоны[4].

Вскоре доплыл мой ямщик по грязи к большому парусному балагану, больше всех светившемуся издали путеводной звездой, между лабиринтом палаток, землянок, балаганов, складов и т.п.

Это был балаган первого маркитанта на Северной стороне, купца Серебрянникова. У него-то мы и остановились.

Меня приняли приветливо, указав мне для ночлега другое маленькое отделение балагана с прилаженной в нем небольшой чугунной печью.

Там спали уже трое приезжих: двое офицеров и один доктор, расположась вповалку на подостланном на сырой земле ковре.

Сырость и промозглость тогдашней декабрьской крымской ночи казались в балагане ощутительнее, нежели на самом дворе.

От Москвы и до теперешнего своего привала довелось мне ночевать только два раза, и то одетым. Теперь мне невыразимо приятно бы было, раздевшись, лечь в чистую, мягкую постель.

Это представлялось мне высшим блаженством, казалось почти волшебной мечтой, одной из тех грез, которые хотя и поражают в сокровенной глубине человека, но постоянно считаются чем-то фантастическим.

Я так устал, что, несмотря на крайний для меня интерес Севастополя, мне было не до расспросов. Недавнее чувство восторга и бодрости сменилось полным изнеможением. Глаза мои закрывались сами собой.

Наскоро проглотив стакан теплого чая с вином, не раздеваясь, в промокших и грязных сапогах, улегся я возле спавших офицеров, дрожа от пронимавшей меня сырости, но скоро это неприятное ощущение исчезло.

Глаза мои слепились, в голове промелькнула мысль о том, что я не соглашусь раскрыть их за все сокровища мира. Потом я как-то лениво подумал: „А ведь я в Севастополе“, и затем заснул как убитый.

И приятность ночлега, и все эти различные, повидимому, мелочи, но ценимые очень в дороге, поймет всякий, кому, как мне, приходилось сделать до трех тысяч верст, и не все по шоссе, а по скверной, грязной дороге с прочими неудобствами пути, при расстроенных станциях.

Ужасный шум и говор в другом отделении, за живой парусной перегородкой или, лучше, завесом, разбудили меня поутру.

Там толпа офицеров закусывала, пила чай, вино, завтракала, лакомилась. Боевым рассказам не было конца. В числе посетителей находилось человек пять раненых с перевязками на голове и подвязанными руками.

С невольным почтением глядел я на рассказчиков, к раненым же я просто ощущал благоговение, невыразимое словом.

Был час одиннадцатый утра; пора было собираться на Южную сторону — к своему новому батарейному командиру[5].

Я хотел было нарядиться пощеголеватее, затянуться в полную парадную форму, как вообще это делается в Петербурге; но меня остановили, заметив, что здесь, в Севастополе, не принято церемоний, не подходящих к здешнему положению. Офицеры — было мне сказано — и ходят, и являются просто, в здешней боевой форме: серой, солдатского сукна шинели и длинных сапогах, потому что грязь стоит ужаснейшая. Я надел все, сообразно указанию, но от длинных сапог отказался с непривычки: дико как-то казалось являться в подобной форме. Навязавши новенький темляк на саблю, надев новые перчатки и фуражку, отправился я на пристань, осторожно ступая в тоненьких сапогах со шпора-

ми и в маленьких щегольских калошах. Несколько минут я ступал осторожно и выбирал места посуше.

Кончилось, однако, тем, что, добравшись до пристани, очутился я забрызганным и перепачканным в грязи почти по колена, едва не растерявши калоши, часто увязавшие в клейком исподе грязи.

Пробираясь таким образом, я в душе завидовал встречным офицерам, которые, не разбирая, спокойно шагали по улице в своих длинных сапожищах.

У пристани народ кишмя кишел: и люди, и скот, и повозки немилосердно месили грязь. Казалось, огромная ярмарка стояла в самом разгаре. Набережные Северной стороны кипели работой; шла постоянная погрузка вещей, отсылаемых на Южную.

По бухте беспрерывно сновали разные суда: весельные большие и малые, парусные и паровые с бездной разнообразных предметов.

На палубах транспортных судов виднелись пехотные партии, рогатый скот на убой, возы сена, бочек, кулей, туров[6], лошади, орудия, крепостные станки, резаное сырое мясо в окровавленных мешках, женщины и торговый люд, дети и раненые.

При мне причалило с Южной два баркаса с грузом доверху наложенных, простых, неокрашенных гробов с телами опочивших на поле чести.

С благоговением снял я фуражку и перекрестился.

Южная сторона Севастополя, всем возможным снабжаемая с Севера, в свою очередь, взамен того наделяла Северную сторону лишь негодным для себя: убитыми, ранеными, подбитыми станками и орудиями да издыхающими лошадьми.

Долго еще простоял я на пристани Северной стороны, не садясь в военный катер или в один из толпившихся у берега вольных яликов, несмотря на зазывание владельцев последних:

— Вот пожалуйте! Вот ко мне! Вот лихо доставлю! Вот на Графскую!

С жадным любопытством всматривался я в открывшуюся предо мной панораму укреплений с вьющимися по воздуху белыми густыми клубами порохового дыма.

Прямо предо мной виднелась на Южной, разделяемой множеством бухт, Графская набережная, с аркой и изящным гранитным всходом, с каменными по бокам караульными домиками; от набережной вправо, по берегу, уходила, загибаясь к городу, длинная каменная Николаевская батарея, с черневшимся на море двойным рядом амбразур; немного влево высился бульвар с щегольским на нем павильоном и памятником Козарского[7]. По берегу, по-над бульваром, виднелось Адмиралтейство с высокой своей над воротами входа каланчой; белелась неоконченная, с лесами еще, новая церковь прекрасного стиля с высоко взлетевшим над легким куполом золотым крестом, и рядом старая, небольшая; обедня отходила, и благовест звучал над городом, чудно смешиваясь с гулом и перекатами раздающихся вокруг выстрелов. Город, весь каменный, раскидывался амфитеатром; на крайней точке величественно подымалось прекрасное здание библиотеки Черноморского флота.

По левую от меня руку, по Северной стороне, виднелись между различных складов, палаток и проч. несколько каменных казенных зданий, где были госпитали и помещалось управление главнокомандующего; уходил вдаль рейд, разветвляясь на разные бухты; по нему разбросан был повсюду наш Черноморский флот; Корабельная слободка красовалась доками и большой морской казармой, а там, в отдалении, повыдвинувшись вперед между другими постройками, громоздилась масса Малахова кургана[8].

Всего, однако же, не перескажешь о том, что увидел я, стоя у моря. Помню между прочим о том чувстве, с каким увидал я линию военных кораблей, поперек сильно зыблющейся бухты на воде мутно-свинцового цвета, казавшейся еще более темной от туч, глядящихся в ее поверхность.

Далее к морю из воды глядели верхи мачт. То были суда, нами затопленные.

Вид на море был вообще грустен. Солнце изредка выглядывало из-за туч, но не более как на минуту. За линией

бонов[9], с небольшими пенистыми водоворотами около перемычек, как-то безотрадно глядел простор беспредельного моря. На сумрачном горизонте ясно обозначались даже реи неприятельских блокировавших кораблей, и затем отовсюду висела неприязненная свинцовая мгла, придающая такую сердце сжимающую суровость всем морским видам в зимнее время.

Я сел, наконец, в катер. Большое волнение широкой зыбью расколыхало бухту; наш катер бросало во все стороны, и в это время странно было смотреть на едва покачивающиеся стройные громады линейных кораблей.

Гораздо правее Малахова кургана слышалась частая пальба.

— Вишь, как он понапустился на четвертый, — говорили гребцы между собой.

— Что такое четвертый? — спросил я.

— Баксион, — отвечали они с ласковой снисходительностью старого солдата, говорящего с молоденьким офицером.

Причалили мы к Графской. По команде мохнатого боцмана: „Крюк!“ все двадцать четыре весла, разом поднявшись, потом уложились по бортам; один из матросов ловко выскочил на самый нос катера и в то мгновение, когда, казалось бы, судно должно было стукнуться о гранит набережной, движением багра задержал толчок и пособил пристать к берегу.

На ступенях и площадках кучами навалены были чугунные орехи всех возможных родов — от самого меньшего номера картечи и до пятипудового калибра бомбы.

В пространстве между набережной и близлежащим углом Николаевской батареи, закруглявшимся башней, расположилась, словно на Сенной в Петербурге, целая толпа продавцов — мужчин и женщин — все почти матросок, и даже детей. Постоянно раздавались: „Сбитень горячий“ и всевозможные приглашение на разное съестное.

По выходе из-под арки Графской пристани бросались в глаза сейчас же по обе стороны разбросанные разные боевые припасы: крепостные лафеты, разных калибров чугунные

пушки на станках и без станков, лафеты, брусья и опять кучи бомб, ядер, гранат и картечи.

По правой руке желтелся бывший когда-то дворец Екатерины, нарочно построенный для приезда этой императрицы; далее раскидывалась перерезываемая каменной баррикадой с небольшими карронадами[10] в амбразурах обширная Николаевская площадь с бездной разнообразных предметов, с зеленеющим на ней артиллерийским парком легкой батареи, и именно, как я узнал, самой той, в которой состоял я теперь на службе.

Пока проходил я мимо дома собрания, обращенного в главный перевязочный пункт, мне в первый раз пришлось видеть раненых. Несколько окровавленных носилок остановилось перед большими лакированными дверьми этого дома. Я с непростительным любопытством заглянул в одни носилки; там лежал какой-то пехотный солдатик-егерь; и судьба зло проучила меня на первый раз: взглянувши на раненого, я содрогнулся, похолодел и зажмурил глаза. Осколком гранаты было изуродовано все лицо несчастного, клочками висело мясо, а чудом уцелевший один глаз смотрел невыразимо страшно. Кровь душила раненого, он храпел и метался. Сердце мое, казалось, разорвалось на части от тоски и сострадания.

Со мной сделался нравственный переворот: меня разом оставили все радужные мечты поэзии, все одуряющие картины боя, так привлекательные вдали от действительных ужасов войны. Мне стало жутко, больно, страшно за себя, стыдно за свою прапорщичью восторженность. Молча, как бы с застывавшим сердцем, прошел я мимо дома страждущих героев.

Но далее, за баррикадой, со мной повстречались такие будничные, довольные, занятые собой физиономии, щеголи офицеры, торговцы и разносчики, нарядные дамы и девицы, щегольские пролетки, играющие дети, вся обстановка обыденной жизни, что первое неприятное впечатление стало сглаживаться, сглаживаться и напоследок сгладилось совершенно.

— Телятникову привезли новые материи. Пойдем посмотреть, — лепетала одна девица с узенькими ножками, пробираясь по камешкам к тротуару.

— Напьемся шоколаду у Томаса, — говорил один офицер встретившемуся товарищу.

— Хорошая была игра у С*, — рассказывал какой-то адъютант, пробираясь в гурьбе других офицеров, — чертовски валило хозяину — выиграл тысячи четыре.

Другие прохожие таинственно рассуждали про какую-то Феньку. А кругом гудели выстрелы; за известной чертой разыгрывалась грозная драма — велась иная совершенно жизнь.

От всей этой противоположности, от этой смеси житейских забот с войной я почувствовал себя как будто вывихнутым нравственно.

Мне даже досадно стало, что вместо воображаемого мной, совершенно сурового, грозного, боевого вида, нашел я в Севастополе жизнь общую, городскую, с ее удобствами, негой и возможными удовольствиями. Какое право имею я, думалось мне, гордиться тем, что живу в Севастополе?

Я был совершенно похож на человека, считавшего себя за очень важное и отчасти великое существо — и вдруг совершенно разочаровавшегося на свой счет; готового даже тяготиться собой вследствие разлада между помыслами своими и действительностью!

Напротив восьмого бастиона, в небольшом каменном домике, на дворе, обнесенном стенкой, квартировал мой батарейный командир. Зеленый казенный ящик у одного окна с артиллеристом на часах и походный фургон в стороне указывали квартиру начальника отдельной части.

Огромный бульдог с громким лаем бросился ко мне, но, признав, видно, знакомую артиллерийскую форму, улегся, тихо бурча и поколачивая хвостом о землю.

Часовой сделал на караул; но я ему махнул рукой, и он, взяв тесак в левую руку, опять заходил у ящика. Из кухни — особого флигеля — неслись веселые мужские и женские голоса и кто-то бренчал на гитаре, припевая: „А и что ты, что ты, д’ай где ты, где ты, д’вот как ты, как ты“ и т.д.

— Подполковник ушли-с на баксионт.

Такими словами встретил меня выбежавший денщик, живо отняв ото рта трубку и закладывая ее вместе с левой рукой за спину.

— Оне скоро-с будут; стол уже накрыт-с, — прибавил он, посмотрев на меня.

„Что ж это, однако, — подумал я, — он так утвердительно говорит о возврате своего господина, как будто бы тот отправился на гулянье в совершенно безопасное место“.

По-настоящему удивляться здесь было нечему; все было делом привычки: о том, кто возвратился вчера да позавчера, да третьего дня, уж и не думалось как-то, чтоб он не вернулся сегодня. Я остался дожидаться прихода батарейного командира.

Квартира его состояла из двух комнат; в обеих было по складной деревянной кровати, чисто, аккуратно поставленных. С батарейным командиром стоял на квартире, по его приглашению, старший офицер в батарее.

Убранство первой комнаты, принадлежавшей штабс-капитану, приспособлено было на походную ногу, изобличая старого бывалого служаку, любившего, однако, некоторый комфорт и не пренебрегавшего внешностью. Тут не было ничего излишнего; хоть сейчас забирайся на вьюки. Взгляд мой с удовольствием останавливался и на коврике над кроватью, и на походных вьюках, удивительно прилаженных и вместительных, и на красивом седле с прибором, положенном на спинку стула, и на прочих мелочах, симметрически разложенных на столике.

На обоих подоконниках в этой комнате лежали осколки, иные в ½ пуда весом даже, расплюснутые и сохранившиеся штуцерные пули различных сортов: круглые, цилиндро-конические, с полушарным дном конические, с одним и несколькими нарезами, с чашечками, со стерженьком и проч.; корпус и отвинченный восьмигранный, немного обожженный хвост французской ракеты и не разорвавшаяся ударная цилиндро-коническая тяжелого калибра английская бомба, выпущенная, вероятно, из ланкастерского орудия[11]. В одном

углу стоял огромный мешок подков для орудийных лошадей.

Другая комната, помещение батарейного командира, казалась суровее первой и выглядела не так уютно.

Кипы бумаг навалены были на окнах, на письменном столике, не было ничего галантерейного, кроме бомбовых трубок разной величины, медной пороховой мерки для мортир[12] и некоторых иных принадлежностей артиллерийской лаборатории.

Мебель вся была красивая, на пружинах.

От нечего делать я все рассмотрел и, кроме того, прочел лежащий на столе печатный список о наградах за Инкерманское сражение[13]; из него я увидел, что почти все офицеры нашей батареи были кавалерами.

— Послать просить господ на обед, — послышался в сенях отрывистый, мужественный голос вместе с топаньем и шарканьем ног, с которых обтирали грязь.

— Новый офицер ожидает-с вашего высокоблагородия, — доложил ему денщик.

— А-а, — тем же тоном заметил батарейный командир, входя уже в комнаты.

Я встал и пошел ему навстречу.

Командир мой был плотный и бодрый мужчина среднего роста с открытым, но вместе строгим лицом: длинные русые усы его, висевшие книзу, придавали всем чертам его, до самой макушки, еще более суровости; по голове его шла лысина. Солдатского сукна шинель с Георгиевским крестом за 25 лет[14] и длинные, как у всех, сапоги довершали его костюм. Левая рука висела на черном шелковом платке, завязанном на воротнике.

— Баландин, трубку! — крикнул он, выслушивая меня.

— Садитесь, — сказал он мне потом, сам поместясь на небольшой диванчик. — Вы когда приехали?

— Вчера ночью.

— О вас есть уже бумага; вас перевели к нам, кажется, по собственному вашему желанию? — продолжал батарейный командир, закуривая поданную трубку и смотря на меня.

— Да, — отвечал я, — мне захотелось побывать в деле...

— А! — прервал он меня. — То есть отличиться? — и он опять взглянул на меня сквозь окружающие его клубы дыма.

Но в это время заметил он своего фельдфебеля[15], давно уже вытянувшегося у дверей другой комнаты рослого бакенбардиста с пряжкой орденов во всю грудь, и, не дожидаясь моего ответа, стал отдавать различные приказания.

Пришел и штабс-капитан, небольшой человечек, довольно полный, с большими черными бакенбардами, с лихо вьющимися рыжеватыми от табачного дыма усами и небольшими бегающими глазками.

Он обходительно познакомился со мной, засыпал меня разговорами о Севастополе и весело улыбался, тешась над моим жадным вниманием.

Об этом штабс-капитане напечатано было в газетах, что, когда во время одного сражения с турками в настоящую кампанию перебило всю прислугу у одного орудия, он сам заряжал его и сам собственноручно стрелял в неприятеля.

Вскоре послышался в сенях сильный стук и топот, вслед за которым ввалились четыре человека, артиллерийские офицеры, настоящие мои товарищи.

Не прерывая разговора с фельдфебелем, батарейный командир приветливо раскланялся с ними.

Говор и шум пошел по всем комнатам. Я сейчас же сошелся с новыми товарищами, как это обыкновенно водится в артиллерии, где, по небольшому числу офицеров в батареях, они всегда живут дружно — своей семьей.

У офицеров нашей батареи была одна общая квартира; с первых слов они тотчас же пригласили меня к себе с истинным радушием.

— Сегодня жарко было на четвертом, — сказал батарейный командир, покончив полную тарелку борща и утирая усы салфеткой, — на английской батарее в лощине против 4-го бастиона открылись еще три новые амбразуры. Мы-таки их сбили, ну и затеялась потеха! — прибавил он с веселой улыбкой. (Видно было, что разговор об артиллерийских делах был его сферой.) Одна бомба, — продолжал он, — лоп-

нула на воздухе, прямехонько надо мной. Я поприжался к брустверу, а одного лейтенанта задела-таки она в руку!

— И из людей зацепила кого-нибудь? — спросил один из офицеров.

— Двух матросов тяжело ранила, — отвечал командир, — а одного положила на месте, головы и теперь не сыскали.

Мороз пробежал по моим жилам; все же прочие выслушали это хладнокровно, как обыкновенное происшествие; а штабс-капитан даже что-то сострил, к полному удовольствию батарейного командира.

— Чья очередь на бастион? — спросил последний, обращаясь к офицерам.

— Моя, — отозвался один молодой подпоручик.

— Смотрите же, будьте настороже. Будет вылазка в 11-м часу ночи, и как раз с вашего фаса. На ночь зарядите картечью; да возьмите еще единорог[16] из четвертого взвода; фейерверкерам держать огонь в ночниках. Раненых, коли будут, отсылайте немедля, чтоб скорее заменить убыль. Впрочем, я и сам к вам понаведаюсь.

— А по сколько зарядов картечи взять с собой?

— Полный комплект и с запасными.

Восхитителен был для меня боевой разговор. Он опять унес меня в мир военной поэзии.

Это не была та речь, что в мирное время: о шагистике, ремешках да наступных и отступных порядках.

— Вы заходите ко мне завтра, часу в восьмом утра; пойдем вместе на бастионы, — сказал мне батарейный командир, когда после обеда мы с ним попрощались.

Офицерская наша квартира состояла из трех комнат: в двух жили офицеры, в третьей денщики. Мебель была преразнообразная: рядом с штофным диваном, хотя и поиздержанным, красовались деревянные простые табуреты, диванчики и даже кровати. Все ставилось без разбора, все добывалось по мере надобности из различных мест.

Я захотел пройтись по Севастополю, и все товарищи вызвались сопутствовать.

Пройдя через бульвар, на который вела с нашего двора особая калитка, чтоб не делать лишнего обхода, спустились мы прямо на Екатерининскую улицу, к церкви.

Много заметил я домов, годившихся бы даже в лучшую петербургскую улицу.

В многочисленных различных лавках кипела полная торговая деятельность. Деньги, по собственному выражению туземных торговцев, „рукой загребали".

Лишь иногда влекомое вдоль улицы на бастион толпой солдат и матросов тяжелое крепостное орудие или проносимые окровавленные носилки да еще гул дальних выстрелов напоминали собой о суровой действительности.

При виде носилок со стонущей в них жертвой проходящие дамы восклицали, с истинным состраданием:

„Ах, бедненький!" — „Господи, как он мучится!" — „Бедняжка!" — „И какой молоденький еще!" — и слезы сожаления невольно навертывались на глазах; но проносились носилки, и прежнее впечатление уступало место новому, не столь печальному.

Словом, в это время, о котором я говорю, осажденный Севастополь еще резко разделялся на две половины: совершенно мирную, с тихими ее привычками, и совершенно военную — грозно-боевую.

„Иду на вылазку; на бастион; на работу в траншею; в ложементы[17]" и т.д. — говорилось так же равнодушно, как: „отправляюсь к такому-то на вечер; собираюсь в карты поиграть, схожу в кондитерскую" и т.д.

Равно: „ранен, убит, контужен" произносилось как: „он болен лихорадкой, простудился немного, страдает головной болью, насморком".

Разительно выказывалось странное смешение жизни обыденной с жизнью боевой и лагерной.

Странно, говорю, было видеть людей, заботящихся о благах и удобстве жизни; дам, девиц нарядных, спокойно прогуливающихся; детей, бегающих и весело играющих в войну рядом с настоящей войной, в нескольких сотнях сажень от смерти со всеми ее ужасами.

Голова моя просто шла кругом, — с непривычки, конечно, и я заключил, что лучше уж не умствовать много — „не думать“, как выражаются военные, говоря про тяжелый миг опасности, и забываться пока можно в коловороте будничной, доступной еще пока нам, севастопольцам, жизни.

Так оно и случилось. Особенно помню я, что перед наступлением вечера, зайдя в кондитерскую, весьма хорошо устроенную, я, сам не зная почему, на короткое время вообразил себя в одной из столиц, посреди полной тишины, может быть, за один день до развода, парада, отпуска и т. д.

А когда мы все пришли домой и, напившись чаю, составили между собой партию ералаша[18], минуты рассеянности стали показываться чаще, и хотя я никогда не был страстным игроком, но на этот вечер, сидя за игрой, забыл я даже, что нахожусь в Севастополе.

Около полуночи неожиданно загремели частые орудийные выстрелы и полилась вместе с ними беспрерывная трескотня ружейной пальбы. Я вскочил, полагая, что настал решительный час для Севастополя.

— Вам ходить, — заметил мне мой партнер, не пошевельнувшийся с места, как и все прочие.

— Это так только, часто случается, пустая тревога, вероятно, — пояснил он мне, видя мое изумление.

И, действительно, вскоре все угомонилось: живая перепалка заменилась обычной, редкой, но постоянной пальбой, той пальбой, к какой в течение суток уши мои давно привыкли.

„Ну, что, — подумал я, отправляясь к своему батарейному командиру утром на другой день в назначенное им время, — что, ежели убьют меня сегодня же? Ведь очень возможное дело“.

Почему-то мысль эта постоянно вертелась в моей голове.

„Не успел оглядеться, — думалось дальше, — не только что отличиться на гордость себе и старушке-матери, как уж какой-нибудь кусочек свинца сотрет тебя с лица земли, и канешь ты в вечность так, как бы и вовсе тебя не было. Никто о тебе не подумает, и фамилия твоя лишь окажется в прибавившейся общей цифре убылых“.

Командир мой встретил меня, как вчера — радушно, но безо всяких красноречивых приветствий. Молча вышли мы из домика и молча пошли рядом. Добравшись до половины Морской улицы, взяли мы направо, в гору, под самый бастион, и тут уже мне пришлось несколько раз ступать по врывшемуся в землю чугуну артиллерийских снарядов. Сюда залетали уже ядра и бомбы; здесь многие дома были полуразрушены и необитаемы, разве квартировал в доме какой-нибудь военный человек, давно уже присмотревшийся к неожиданностям осады.

Далее и далее двигались мы, пробираясь на пятый бастион; еще несколько сажень — и пули зажужжали на все лады; несколько ядер шлепнулось невдалеке, воронкой разбросав брызги грязи, другие ядра с визгом проносились направо и налево, должно быть, очень в недальнем от нас расстоянии, потому что на меня пахнуло раза два каким-то легким духом. И над нами в воздухе совершалось что-то необыкновенное: слегка посвистывая, прокружилось над нашими головами несколько бомб. Медленный и почти приятный на вид полет их, казалось, не сулил никакой опасности, только по сторонам после их падения и взрыва с визгом и звоном урчали разлетавшиеся во все стороны осколки, или „черепки“, как называют их солдатики.

Я шел довольно бодро возле батарейного командира; но сердце как-то невольно сжималось и сильнее билось, иногда даже до болезненной степени.

Почему-то все мне чудилось, что ядро или пуля сейчас ударит мне прямо в лицо, а бомба в то же самое время упадет на мою голову.

Силой воли старался я отгонять подобную слабость.

При близко пролетавшей пуле или ядре приходило на мысль: переменить направление, взять немного в сторону или ускорить шаг; но через мгновение, когда пуля или ядро пролетали, бомба же невредимо для нас разрывалась в отдалении, мне вдруг становилось веселее — и опущенная голова вдруг гордо подымалась.

Люди ходили здесь ускоренным шагом, но с таким спокойным выражением лица, что, кажется, всякое чувство

страха и опасности должно было считаться чем-то неестественным, фантастическим и неуместным.

Мы проходили мимо многих орудий, молчавших или выпускавших заряд с оглушительным гулом, брустверов, траверсов[19], офицеров, землянок, погребков, солдат и матросов, курящих, расхаживающих, занимающихся работами и даже играющих в карты; казалось, ужасный хаос существовал на месте бастиона; все понагромождено было без цели, в грязи и как бы из прихоти стеснено на самом небольшом пространстве.

Я не умею утаивать своих впечатлений и потому признаюсь откровенно, что во время прогулки по бастиону, теперь описываемой мной, был более похож на неопытного туриста, озадаченного небывалым зрелищем, нежели на артиллериста, сколько-нибудь знакомого со своей специальностью.

Все металось и путалось перед моими глазами, я ничего не понял и не разобрал, находясь словно под влиянием лихорадочного пароксизма. Кровь била в разгоревшуюся голову, о чем я думал — и сам не помню, но я не слышал даже свиста различных снарядов, летающих поминутно.

Мы обошли весь пятый бастион, побывали на Шварца редуте[20] (к которому в то время не было еще блиндированного хода), а потом, спустившись в лощину, пошли вдоль невысокой, каменной стенки с присыпанной к ней снизу землей. В некоторых местах нас легко было заметить неприятелю; и, действительно, штуцерные пули[21] скоро засвистели перед самым моим носом. Не переменяя походки, прежней мерной поступью провел меня батарейный командир через это действительно опасное пространство. Совершенно невдалеке, саженях в семидесяти от нас, вспыхивали огоньки с вырывающимися вслед белыми клубами дыма.

— Это и была ближняя неприятельская траншея, из которой теперь по нам целили, — заметил батарейный командир и потом прибавил:

— Эк их строчат; да только пуле кланяться не надо: она не любит этого. Да и толку тут нет: которой пули полет

слышишь — та, значит, давно уже позади. А пули или ядра, которое в вас попасть захочет, вы и не услышите.

Тут подполковник усмехнулся, а у меня сердце опять сжалось.

Вообще весь переход под штуцерными пулями показался мне страшно длинен.

„А на бастионе гораздо лучше“, — подумал я про себя, совестясь, однако, за свое рассуждение.

Мы вышли прямо на правый фланг 4-го бастиона и остановились у одной мортирной батареи, устроенной немного позади передних орудий.

Я успел осмотреться и водворить порядок в своем наблюдении. Бруствер, около которого мы находились, был прорезан семью амбразурами, в амбразуры же выглядывали два бомбовых 3-пудовых орудия, одна морская (58-фунтовая карронада) и четыре 36-фунтовые пушки, наконец позади них, как я выше упомянул, поставлена была мортирная батарея.

Все это, считая с прислугой и прикрытием, тесно местилось между двумя огромными траверсами на самой небольшой площадке. Офицер, взросший на книгах и слепо следующий правилам фортификации, ужаснулся бы от всего сердца при виде таких узеньких мерлонов[22], таких причудливо-неправильных фронтов укреплений, устроенных вдохновением Тотлебена[23], как бы наперекор всякой рутине, всем преданиям состарившейся науки.

Бруствера росли и утолщались с такой же прихотливостью: там брошено было лишь несколько туров, насыпанных землей; в другом месте громоздились стены из бочек, деревянных брусьев, мешков с землей, с обшивкой из туров, фашиннику и т. д. Все строилось, все созидалось по мере настоятельной потребности, не для щегольства или симметрии, конечно.

На каждой батарее непременно был образ, а иногда два или три, с кисейным или даже шелковым покрывалом. Множество свечей теплилось у каждого, особенно по вечерам.

Моряк-лейтенант, командир батареи, почтительно встретил моего спутника. Как помощник начальника артил-

лерии, наш подполковник имел влияние на бастионах; да сверх того, каждому было невозможно не уважать его за истинное мужество и неутомимую деятельность, соединенную с мастерским знанием своего дела. Утром и вечером постоянно ходил он на бастионах, дельно и с любовью хлопотал по своей части. И теперь, чтобы выверить заряды на разные дистанции для пятипудовой мортиры, отдал он приказание сделать несколько выстрелов для пробы.

С радостью подскочила прислуга.

— А вот пошлем ему гостинчик, — заговорили солдаты.

Мигом дело сделалось, и пятипудовый гостинец отправился к неприятелю; за ним другой и третий. Комендор[*] выскочил на банкет и с радостью, одушевившей суровые черты лица его, вскрикнул, оборотясь к нам:

— Есть!

— В первую канаву[**] угодил, — пояснил другой матросик, также смотревший, куда ему угодит бомба.

— Да, да, — подтвердил лейтенант, в подзорную трубу следивший за падением снаряда.

Стоя возле них на банкете, приложившись глазами в ружейную амбразуру, следил я не за полетом бомб: я глядел на пространство за бруствером нашим, занятое неприятелем, — им, как говорят солдаты, ни души там не было видно, только взрыта была в разных направлениях земля, да за версту почти высились валы осадных батарей, откуда мелькали огоньки, застилаемые дымом; вслед за сим громко раздавалось у нас: „пу-шка!“ или „мар-ке-ла!“, оглашаемое дежурным сигнальщиком на каждой батарее.

На пущенные нами бомбы неприятель отвечал тремя ядрами, из которых два врезались в бруствер, а одно, с рикошета, вырвало двух людей из недалеко стоявшей кучки.

— Ишь, осерчал! — заметило несколько солдат оттуда же.

— Носилки! — крикнули другие, быстро, но без замешательства кидаясь к упавшим товарищам.

Собрать убитого считалось на бастионах святым делом.

---

[*] Так называют моряки орудийного фейерверкера. *(Примеч. авт.)*

[**] Траншею. *(Примеч. авт.)*

Сердце мое снова забило тревогу при виде крови и лиц, обезображенных страданием; но волнение мое уже не имело в себе ничего невыносимо-тяжелого, как при виде изуродованного егеря близ Дворянского собрания.

Осмотревши весь 4-й бастион, вышли мы по направлению к городу с левого фаса.

Часа четыре уже бродили мы с батарейным командиром под беспрерывным огнем.

„Порядочное полевое дело выдержал я“, — подумал я не без некоторого самодовольствия.

Под 4-м бастионом, так же как и под 5-м, видны были женщины — все почти матроски, торговавшие разными съестными припасами.

Но торговали они не из барышей, а для севастопольцев, по силам принося дань общему делу, и об их посильной заслуге не следует забывать тому, кто хочет описывать события знаменитой осады.

В Севастополе между прочим была даже одна батарея, называемая „Дамской“ (солдаты ее как-то иначе еще называли). Землю на эту батарею носили городские женщины сами в корзинах, платках и передниках.

Проходя по Театральной площади, батарейный командир едва успел сказать мне:

— А здесь опасно бывает... — как пуля сорвала мне часть козырька у фуражки.

Я невольно приостановился и, должно быть, побледнел, потому что батарейный командир посмотрел на меня, улыбаясь, и остановился на минуту. Пули, действительно, визжали поминутно. Мне казалось, что они летали не поодиночке, а как будто роями.

Мы ускорили шаг, но в это время еще одна пуля, жалобно взвизгнув, пробила полу шинели у батарейного командира.

— Ничего, молодой человек, на первый раз хорошо, — смеясь, заметил он мне; затем уже продолжал весело разговаривать до самой квартиры.

Когда мы вышли, наконец, из-под выстрелов, мне сделалось невыразимо весело. Каждая вещь, казалось, теперь

иначе смотрела. Какая-то порывистая радость, какое-то чувство наслаждения жизнью заставили кровь мою обращаться скорее.

„Удивительно! — думал я. — Сколько раз жужжали пули у самых моих ушей; на несколько линий только подайся я вперед или прими немного в сторону, и все было бы кончено со мной!

Какие же в самом деле могут быть рассуждения, умствования, предосторожности? Пособят ли в этом деле какие-нибудь заботы о самосохранении? Нет, мои товарищи правы: здесь именно не надо думать, а идти куда следует, с доверием на Всемогущий Промысел, без которого не упадет и волос с головы нашей!“

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Первое дежурство на бастионе. — Первая встреча с неприятелем. — Новый год в Севастополе. — Январь месяц и лейтенант Т*

Через несколько дней по приезде моем в Севастополь пришла и моя очередь отправляться на бастион — на дежурство.

Как бы это выразиться? Готовясь идти на опасный пост, под пули и ядра, я не ощущал особой робости — нет; но какое-то не совсем, однако, веселое, весьма смутное и тревожное чувство неприятно настраивало меня. Обыкновенная неохота идти в должность, вставать до света, играла тут большую роль. Но она, как я увидел после, сильна была лишь сначала; в неохоте моей сказывалось действие разнеженности — привычка к совершенно праздной жизни, с мелкими ее веселостями и комфортом. Само передвижение — и особенно подъем с места — тяготило меня более, чем предстоящая опасность, о которой, признаться, я мало и думал.

Не совсем приятно было оторваться от будничной, обыкновенной жизни, от отдыха после дороги и отправляться — куда же еще? — на бастион.

У товарищей по батарее нашел я несколько книг и журналов, а так как я всегда любил чтение, то и немудрено, что я после дороги и первых дней в Севастополе принялся за книги с необычайным удовольствием. В эту ночь я не ложился спать, а сидел и читал с великим усердием, позабывши даже, что нахожусь в осажденном городе.

— Взвод готов-с, ваше благородие! — громким голосом доложил вошедший в комнату дежурный по батарее фейерверкер[24], вытянувшись в струнку у дверей.

Действительность вмиг предстала предо мной.

— Хорошо, сейчас буду, — ответил я, неохотно подымаясь с мягкого дивана и вместо удобного халата надевая солдатского сукна шинель.

Прощаясь с товарищами, я никак не мог отогнать беспокойной мысли: что, может быть, жму руку им в последний уже раз. Досадно мне было за это на самого себя.

Несмотря на обыкновенную и довольно будничную мою жизнь в Севастополе, я совершенно успел свыкнуться с мыслью, что приехал сюда не для радостей и веселья.

„Что за вздор! Что за малодушие!“ — думал я, стараясь вытеснить неотвязчивую грусть, и, вскочив в седло, поскакал в парк батареи, на Николаевскую площадь.

Взвод собрался словно на учение; та же опрятность и точность фронта, те же спокойствие и бодрость на лицах.

Я скомандовал, орудия тронулись; прислуга, сняв фуражки, набожно начала креститься; невольно и я последовал их примеру.

Уже совершенно смеркалось; полный месяц давно плавал дозором по небу над враждебно-размежеванным пространством у Севастополя.

Море, окутанное мраком ночи, глухо плескалось справа. Далеко на нем виднелась линия огоньков на неприятельском флоте. Глухо отдавались выстрелы во влажном, сыром воздухе.

Артиллерийский огонь был редок, только по временам в темной вышине над бастионами светящимися во мраке звездами пролетали бомбы, то перекрещая полеты, то одна одну нагоняя, оставляя за собой длинную огненную полосу, они взносились стрелой, потом плавно подымались до крайней высоты своего полета, где на несколько мгновений будто задерживались, словно выбирая себе место падения. Вслед за тем, едва заметно уклоняясь со стороны в сторону, они опускались все быстрее и быстрее и, наконец, стремглав сле-

тали наземь, и глазу было уже трудно следить за их падением.

Я ехал у головного орудия, закутавшись в надетую сверх солдатской шинели другую, прежнюю, из так называемого серо-немецкого форменного сукна.

От скуки я завел разговор с уносным фейерверкером, видным из себя мужчиной с довольно облагороженной наружностью. Знак Военного ордена[25] и венгерская медаль[26] красовались у него на груди.

— Что, — обратился я к нему, с первым пришедшим мне на ум вопросом, — жутко в Севастополе, а?

— Никак нет, ваше благородие, — словоохотно заговорил он, — право слово, ничего. Как мы шли сюда-с, так и невесть что наговорили, просто такие страхи; а покамест — благодарение Господу! — ничего-с.

Мы оба помолчали немного, и фейерверкер опять начал:

— По крайности, ваше благородие, одним заобидно, что, изволите видеть, идем, примерно, теперича, и в нас знай жучат; а мы молчим. Да и на баксоне — постоим, постоим, день, другой, да так и уйдем. Ничего не сделали, гарнаты одной не выпустим; а смотришь, либо орудию подбили, либо недосчитались кого из своих-с. Э-эх! Не из-за стен бы, ваше благородие, стрелять-то нашему брату, полевому-с.

— Да, — машинально проговорил я, думая совершенно о другом.

Приняв это за одобрительный отзыв, собеседник мой крякнул и, покрутив усы, заключил такими словами:

— Сидит, вишь, в земле, точно крот; носа не кажет. На штурму-с небось не кинется.

Мы подходили уже под пятый бастион; пули чаще и чаще зажужжали нам навстречу.

И говорун фейерверкер мой, и весело балагурившие солдатики спустились на тон ниже, стали как бы посерьезнее, изредка лишь позволяя себе прибаутки, постоянно одинаковые, постоянно встречаемые одним и тем же смехом, будто самая забавная новость.

Я нарочно исследовал теперь себя, замечал за собой. Второй раз приходилось мне быть на бастионе.

Опасность понимал я теперь сознательнее; не было уже, как в первый раз, какого-то увлечения — странного тумана в голове, соединенного с невольным, тревожным любопытством.

От силы неведомых, новых ощущений, смешанного страха и гордости, ужаса и самолюбия кровь не кидалась мне в голову. Поэзия войны и опасность трогали меня слабее.

Спокойно, с ясным взглядом на свое положение, ехал я около взвода. Кто спорит — во сто крат приятнее было бы находиться в безопасном месте; но я уже верил себе, не допуская в душу излишней тревоги, зная очень хорошо, что сумею не уронить звание русского офицера. И мысленно призвав на помощь Того, в чьей власти все на свете, я довольно успешно устранял в себе даже незначительное внутреннее волнение.

Взобравшись несколько в гору, взъехали мы на 5-й* бастион с правого фланга и прошли на вторую с левого фланга батарею.

Снявшись с передков, орудия поместили у траверса.

Переложивши заряды в отведенный для нас погребок, я отослал лошадей с передками обратно к батарее.

В то время пока я управлялся, моряк-офицер, командир батареи, подошел ко мне и дружески пригласил к себе в свою „конуру", как он выразился.

Это была небольшая ниша в траверсе, ограждаемая от выстрелов с трех сторон и сверху самим траверсом. Четвертая сторона состояла из составленных картечных жестянок, поддонов и просто кусков плитняка, накиданных наскоро.

Небольшая дверца с отверстием в ней в виде сердечка была прилажена очень искусно. На досках устроенная постель и небольшой столик возле занимали все пространство конуры, так что, войдя в нее, непременно надо было садиться на постель.

Артиллерийская прислуга моя, не раз бывавшая на бастионе, разместилась по конурам у знакомых матросов.

---

* Bastion central. *(Примеч. авт.)*

Через несколько времени пальба вдруг усилилась; чаще стали рваться бомбы, по всем направлениям разметывая урчащие осколки. Одна даже так близко от нас лопнула, что горевшая на нашем столе свеча потухла и несколько небольших камней застучало по двери. Трое рядовых уже выбыли из фронта нашей батареи, в числе их мой один артиллерист — старый бомбардир. Небольшой осколок засел у него в плече.

— Ничего, брат Скреба, даст Бог, скоро оправишься, — сказал я, подойдя к раненому, который сам ложился в носилки, хотя боль была сильная и он весь похолодел от страдания.

— О-ох, ваше благо-ро-дие! — с трудом заговорил он. — Божья воля на все! Многим и вам до-воль-ны. Ай, братцы! Смерть тошно идти-ть во шпи-италь.

И горькие слезы собственно от печали разлуки заструились по его суровому лицу.

Русский солдат вообще неохотно отправляется в лазарет, при малейшей возможности всегда предпочитая оставаться при своей части.

— Э!.. да приятели никак раскутились! — заметил наконец мой хозяин-лейтенант, доделывая себе папироску, и, закуривши ее, вышел со мной на батарею, то есть мы сделали два шага вперед от постели, на которой сидели все время.

— Послать комендора и прислугу к бомбической! — крикнул он.

— Есть, — по старой морской привычке отозвался комендор, и несколько человек мигом подбежали к указанному орудию.

— Чем заряжено: бомбой или картечью? — спросил лейтенант.

— Бонбой, на стропке![*]

— А наведено куда?

— На верхнюю шестипушечную.

---

[*] Т. е. с веревочкой, чтоб при случае обратно достать бомбу из канала орудия. *(Примеч. авт.)*

— Ну, валяй!

Трехпудовое бомбовое орудие, чугунная махина в 300 пудов с лишком, разом отпрыгнуло назад с тяжелым своим станком[*]; клубы горячего порохового дыма охватили и нас, и прислугу, затем грянул удар, почти невыносимый для непривычного уха, и в одно время с выстрелом что-то полетело с нашей стороны, шипя и гудя, по воздуху. И вслед за тем ответное ядро от него сейчас же взвизгнуло и пронеслось над нашими головами.

— Вишь, злодей, в долгу никогда не останется! — заговорил лейтенант, бросая докуренную папироску и затаптывая ее ногой, — непременно ответит, и всегда двумя выстрелами на наш один.

Действительно, опять раздался остерегающий возглас сигнального, и граната, шурша своей горящей трубкой, ударилась в гребень бруствера, прорикошетировала по траверсу, у которого мы стояли, и отправилась в город: разрешаться, как выразился кто-то из стоявших в нашей кучке.

Из секрета дали знать, что у него в траншее работают.

— Болтута! — сказал лейтенант комендору у мортиры, — выпали[**] по ближней траншее темной[***], пали через каждые ¼ часа, пока я не прикажу перестать; да послать на Белкина люнет, попросите, чтоб палили так же, им будет и сручнее.

С четвертого бастиона послали в это время, должно быть, так же по работам в траншеях два капральства[****]. Гранаты[*****] букетом светлых звезд рассыпались над неприятельской траншеей, с перекатным треском стали там лопаться. Показалось ли мне или это так было в самом деле, только следом за падением снарядов до нас донесся крик неприятелей.

---

[*] Заряд для 3-пудовой бомбовой пушки, под бомбу 16 фунтов пороха.

[**] Вместо „стрелять“ моряки говорили „палить“. *(Примеч. авт.)*

[***] Темной, или холодной картечью, называемой так в различие от светлой, т. е. гранатной картечи. *(Примеч. авт.)*

[****] Так прозвали гранатную картечь. *(Примеч. авт.)*

[*****] В пятипудовую мортиру кладется 21 6-фунтовая граната или 36 3-фунтовых. *(Примеч. авт.)*

— Это самый губительный снаряд для траншейных рабочих, — заметил мне мой лейтенант.

— Что, Михайло Васильевич, потешаетесь? — вдруг раздался голос за нами. Это был командир первой от нас батареи на 4-м бастионе. — А я к вам в гости, — продолжал он, — напоите чаем, мой самовар разбила сегодня проклятая лахматка*; допекают злодеи!

Все мы трое вошли в конуру и неминуемо уселись на постели.

У дверей приветливо пыхтел самовар, затягивая песню на разные тоны; трубу самовара заменял корпус французской ракеты... Напившись чаю, хозяин мой ушел с гостем, предложивши мне свою постель.

— Я мало сплю, — пояснил он.

Я поспешил принять радушное предложение и растянулся на постели, хотя и не чувствовал особенной сонливости. Мне было ясно слышно, как перекликались бастионы говором артиллерийского огня; как штуцерные пули реяли роями. Иногда, при несколько усиливавшейся стрельбе, я вставал с постели и подходил к батарее. Прикрытие наше — две роты егерей — разместилось довольно покойно по банкетам[27] батареи; матросы сидели у своих орудий. Никто почти не спал. Люди курили и разговаривали вполголоса. Пехотные офицеры постоянно обходили и поверяли свои ряды. Во рву, в амбразурах, на наружной покатости бруствера, всюду деятельно работали и копали землю. Носилки требовались довольно редко, хотя батарея была набита народом; можно сказать, что по укреплениям все было тихо.

Мне не хотелось спать, и я очень обрадовался, когда увидал выглядывавшую из-под подушки книгу — один из современных журналов. Офицеры Севастопольского гарнизона, особенно моряки и артиллеристы, читали много и следили за новостями литературы. В городе легко было достать все журналы и газеты.

---

* Так прозвали солдаты бомбу, пускаемую неприятелем из гаубиц. *(Примеч. авт.)*

Недолго, однако, продолжалось мое чтение. В исходе 11-го часа поднялась против 4-го бастиона сильная перепалка. Выстрелы, казалось, близились и к нам; я вышел на батарею.

Возле дверей, на земле сидела кучка матросов, из которой часто слышались сдерживаемый смех и энергические возгласы от прорывавшегося наружу восторга. Один матросик рассказывал сказку, слушатели помещались где могли, и многие солдатики, сидя на банкете, свешивались головами книзу, чтоб лучше слушать.

— Так вот, братцы вы мои, Яруслан-то царевич, как поймает ее за белу руку, как учнет ее... — тут голос рассказчика прервался, потому что я спросил, подойдя к кучке:

— Где идет пальба?

Сказочник быстро ответил:

— Никак на четвертом, наши пошли к нему на батарею; вылазка, значит, — прибавил он, будто желая говорить с неопытным прапорщиком как можно вразумительнее.

Я опять уселся на постель и развернул свою книгу. Едва успел я прочесть несколько строк, как вдруг раздался на батарее громкий вскрик: „К орудиям!“ — и с последним замиравшим звуком его загремел, потрясши самую землю под ногами нашими, залп целой батареи с ясно расслышавшимся из-за гула и грома его пронзительным свистом выпущенной картечи*.

С банкетов егеря также открыли беспрерывный ружейный огонь, вскоре слившийся в один резкий и довольно плавный стук, сходный с треском барабанной дроби.

Первым моим делом было броситься к своим орудиям.

Прислуга моя по распоряжению, предварительно отданному мной на случай тревоги, вскатывала уже их по аппарелям[28] на указанные барбеты[29].

Моими орудиями усиливались некоторые слабые части батареи. Стрелять нам приходилось через банк[30], и поэтому мы, конечно, подвергались гораздо большей опасности, чем

---

* В картечную жестянку для 3-пудовых бомб пушки помещается 280 пуль средним весом почти полуфунтовых. *(Примеч. авт.)*

моряки-артиллеристы, которые находились на самой батарее, притом еще и углубленной.

Все, что перелетало, неслось прямо на нас. Я позабыл опасность и жадно выглядывал через банкет, надеясь увидеть ряды неприятеля, наступление, — одним словом, нечто похожее на настоящий бой. Ничего не было заметно. И мы, и неприятель из траншей перестреливались с усердием, и все это была одна пустая тревога.

— Хороша иллюминация? — куря папироску, спросил меня лейтенант мой, указывая на бесчисленные поднимающиеся и опускающиеся светлые точки бомб. — Да! — прибавил он, — пригласил бы я сюда, на иллюминацию-то эту, кого-нибудь из столичных молодцов, в особенности разочарованных.

— Скажите, что за причина тревоги? — спросил я его.

— Наши хотели отрезать французский секрет, а неприятель, вероятно, принял это за вылазку.

Молча простояли мы несколько мгновений. Пальба видимо стихала; посоветовавшись с лейтенантом, чтоб не терпеть даром потери, я приказал было уже скатывать орудия, как шальное продольное ядро ударило по головам двоих из моей прислуги и скользнуло по тарели шестого орудия, приплюснувши ее совершенно.

— Вот и вам прибыль, — проговорил лейтенант.

Мы находились в двух шагах от катастрофы.

Паническим ужасом обдало меня, когда я почувствовал на себе брызги теплой крови.

Я далее заметил, что и лейтенант как бы отшатнулся немного и уперся рукой на правило орудия, у которого мы стояли. Чрезвычайным усилием воли подавил я в себе невольный ужас и начал ободрять своих артиллеристов. Но, к удивлению моему, я не заметил в них никакой особенной перемены, лишь некоторые перекрестились только за упокой павших сотоварищей. С непривычки я так был восхищен их мужеством, что сказал несколько приветливых слов, по всей вероятности, не очень складных, хоть можно было поручиться, что они исходили от сердца. Потом я дал старшему

фейерверкеру денег на покупку вина всей команде по смене с дежурства.

К утру перепалка укротилась, горячка прошла; попрежнему лениво заговорили бастионы. С ослаблением огня мне показалось (как после первого обхода бастионов), что всякая опасность миновала чуть не на вечное время. Дремота одолевала меня, нервы, раздражаемые столько времени, не раздражались более. Конура лейтенанта и его дощатая постель показались мне армидиным ложем[31]. Умирая от усталости, не думая о завтрашнем дне и даже о следующей минуте, я заснул завидным сном военного человека.

Утро прошло без приключений. На другой день, вечером, меня сменили; но не вся моя смена, прибывшая на бастион в таком бодром состоянии духа, возвращалась теперь к батарее. Нескольких храбрых солдат мы недосчитывались.

По приходе с бастиона на следующее утро пришлось мне видеть пленных неприятелей.

Это был „первый неприятель", с которым я стоял лицом к лицу.

С удивительно странным чувством смотрел я на штабных, точно в эту минуту находились теперь передо мной не подобные мне люди, а какие-то сверхъестественные чудовища, персоны особливого покроя.

Ничуть не бывало! Французы и англичане были те же французы и англичане, как и в магазинах на Невском проспекте, но только в военной одежде.

Причиной же странного настроения, с которым я глядел на них, были законы войны, налагающие запретное состояние, которое и окружает для нас все какой-то торжественностью.

Пленных было пять человек: два англичанина и три француза, из них один зуав[32] — унтер-офицер, удивительно стройный мужчина высокого роста с красивыми русыми усами, небольшой французской бородкой, дававшей лицу его особенно мужественное выражение. Красная феска с толстой синей кистью чрезвычайно шла к его мужественной фигуре. Стройный стан охватывала синяя суконная распашная куртка, надетая сверх какого-то нагрудника, также сине-

го; куртка эта была вышита в некоторых местах красными шнурками. Широкий голубой пояс стягивал талию. Алые широкие турецкие шаровары запрятывались в особого рода сандалии. Нога у щиколотки плотно обмотана была тонким кожаным ремнем, отчего при слишком широком исподнем платье казалась чрезвычайно тонкой в этом месте. Глядя на зуава, я словно смотрел на человека, когда-то со мной встречавшегося; так приучили нас к этому роду войск французские гравюры и иллюстрированные издания. Два прочих француза: один пожилой с черной курчавой бородой и волосами с проседью, а другой — почти мальчик, оба солдаты какого-то линейного полка, закутаны были в широкие длинные синие плащи с капюшонами. У пожилого капюшон был наброшен на голову, отчего он смотрел каким-то капуцином.

Зуав и пожилой солдат линейного полка были угрюмы, глядели на нас недружелюбно, неохотно отвечали на расспросы и даже ободрительные выражения русских офицеров. Напротив того, мальчик-солдат смотрел на нас с любопытством и наивным добродушием, его, видимо, интересовали вид неприятеля, ласковая речь неприятельских офицеров. Много воинственного придавала последнему красовавшаяся на его голове небольшая красная шапочка, обшитая тонким золотым галуном и заломленная наперед, с четвероугольным козырьком, немного вздернутым кверху.

Англичане — молодцы по росту, имели, впрочем, вид настоящих откормленных быков, тупо вокруг озиравшихся; зуав, сам чрезвычайно высокий, глядел дитятей в сравнении с ними. Круглая черная шапочка котелком, без козырька, с медным полковым номером странно мостилась на огромной, толстой головище каждого. Красные куртки англичан разительно выказывали их атлетические станы. Ручища каждого, право, не вошла бы в канал шестифунтового орудия. Маленькие наши пехотинцы-егеря глядели на них очень внимательно, изредка говоря между собой:

— Ишь его вытянуло! Головища-то, головища какая.

У одного англичанина скулы порой судорожно двигались, и мне все казалось, что он жевал жвачку.

Я заговорил с зуавом и между прочим спросил: имеет ли он близких родных во Франции. Что-то помешало нашему разговору, и так кончилась моя первая встреча с первыми неприятелями.

———

Вот уже и канун нового, пятьдесят пятого, года; последний день бурного для многих тяжелого года!

Что сулит судьба Севастополю! Много кровавых дней, — это верно.

Много... но сколько? Точный конец все же отрада! Но и он под непроницаемой пеленой будущего. Долго ли придется нам перестреливаться с неприятелем, глядеть на его медленное приближение, роптать на эту медленность и прямо глядеть в глаза смерти?

Да, правда! Кто примкнул к рядам защитников Севастополя, тот записал свою жизнь на жертвенник отечеству и не властен уже рассчитывать на нее. Сохранит судьба — хорошо!

Наш старый год был закончен счастливой вылазкой*, распространившей совершенное смятение у неприятеля. Хотя все мы достаточно понимали, что от небольшой вылазки, более или менее удачной, судьба осады зависеть не может, но, невзирая на то, было весело слушать и говорить о ней накануне нового года.

Смешной при этом выдался случай: наши солдатики захватили в английской траншее какое-то существо, закутанное в шерстяные одеяла, мычавшее и кусавшееся все время, пока его несли. Раскутавши эти нового рода пеленки, наши солдаты не без удивления увидали в них толстого англичанина-офицера. Бедняжка истинно проспал свою свободу, но вольно ж ему было устраивать себе домашнюю постель перед самым носом осажденных?

Офицеры нашей батареи захотели встретить новый год как можно торжественнее. Все мы, сложившись, заказали у

---

* Под командой подполковника Маркова и лейтенантов Астахова и Бирюлева. *(Примеч. авт.)*

Томаса великолепный ужин, а потом, en masse*, хотели пригласить к себе нашего доброго, всеми любимого командира. К сожалению, он был отозван уже к генерал-майору Тимофееву[33]. Несколько моряков и пехотных офицеров, коротко с нами познакомившихся на батареях, дополнили наш дружеский кружок. За хозяйку, как постоянно бывало в подобных случаях, трудился один наш подпоручик, очень молодой еще человек, но рано испытавший особую немилость природы, чуть не с детских лет наделившей его лысиной в полголовы.

Много дум заветных теснилось на сердце у каждого в ожидании таинственного двенадцатого часа.

Невольно мысль переносилась к близким сердцу, к родным и друзьям.

Но еще у всех была одна мысль — о загадочной будущности окруженного врагами города. Всякий из нас хорошо знал, что в эту минуту мысли всех, к нему близких, сосредоточились на нем, и я знал, что теперь, перед новым годом, вдали от меня вспоминают мою особу все люди, любимые мной.

Около двенадцати часов я живо вообразил себе отсутствующую и плачущую обо мне матушку: мысль, что она теперь воссылает к небу молитвы и о Севастополе, и о сыне, находящемся между севастопольцами, — эта мысль не отходила от меня...

Пробил таинственный час полночи, кончился старый год. Улыбаясь и надеясь, поздравили мы друг друга с новым годом, даже с новым счастьем; но нам бы шло скорее сказать: „с новым горем“, потому что оно висело над нами даже в эту самую минуту.

Поздравляя друг друга, каждый из нас, наверное, думал: „Придется ли-то дождаться нового года?“ Друг на друга посматривали мы, точно стараясь угадать тех, кому не было суждено дождаться такого же вечера перед первым январем, через двенадцать месяцев…

Ужасная темень глядела в наши окна; северный ветер бушевал по улицам, жалобно завывая в трубе нашей комна-

---

* Вместе, совместно. (*Пер. с фр. здесь и далее изд-ва.)*

ты. Мелкий снег крутился и изредка стучал в окна; слабо долетали до нас редкие звуки отдаленных пушечных выстрелов.

Вся сцена имела в себе что-то нерадостное, скорее зловещее, чем приветливое. Правда, беседа казалась довольно оживленной, но только на время. Всем скоро захотелось спать, и мы разошлись.

Я рано проснулся поутру.

Пасмурен и угрюм казался первый день нового года, ветром разносило падающий сильный снег. Серые, мглистые облака застилали небо, и гудящая даль Черного моря грознее чернилась, перекатывая мрачные свинцовые волны.

Машинально вышел я на улицу и побрел по городу. Был час десятый в исходе. Унылое, похоронное пение и музыка послышались в отдалении, потом приблизились мне навстречу; попалась похоронная процессия, мимо меня пронесли два розовых гроба. Хоронили двух недавно убитых офицеров. Один, еще мальчик, лишь несколько дней успел пробыть в Севастополе; другой покойник был пожилой человек, подполковник по чину. Редко когда ощущал я такую потребность молитвы, как в эти минуты. Звонили уже к достойной[34]; я направился к церкви. При первых заслышанных звуках священного пения на душе просветлело, и мне удалось помолиться так, как редко молятся люди, не ведающие тревог и опасности.

Январь начался большей частью пасмурными холодными днями. Обычная деятельность жизни и смерти кипела в Севастополе. Целыми толпами передавались к нам неприятели, страдавшие от голода и холода. Нередко попадались они с отмороженными руками и ногами, вызывая на истинную жалость и сожаление. Они голодали и холодали в своих лагерях, а между тем за несколько верст от них — в Балаклаве и Камыше — гнили громадные склады всевозможных запасов. Траншейные работы замедлялись, стрельба шла вяло, и эти признаки утомления в неприятеле — странное дело! — отразились на нас, молодых офицерах, довольно необыкновенным образом. Нам стало скучно. Опасность уменьшилась, жизнь пошла правильнее, нервы менее воз-

буждались, разговоры стали делаться однообразнее. Для главных действующих лиц драмы интерес ее, конечно, все возвышался и возвышался, но мы, хористы и статисты, утомлялись днями отдыха.

Не скрою, что воспоминания мои о времени, протекшем до второго бомбардирования города[35], и смутны, и холодны. Много распространяться о них я не в состоянии.

В январе решилась и участь Корабельной стороны — Корабелки, как вообще ее называли.

15-го этого месяца прибыл к союзникам из Парижа генерал Ниэль[36], присланный самим Наполеоном III[37] для обзора осадных действий. По его предложению принят был Канробером[38] новый план осады; неприятели заключили: сосредоточить свои главные действия против восточной части Севастополя и Малахова кургана* в особенности.

До этой поры главной метой врага был 4-й бастион**, против которого на земле и под землей истощал он все средства осады и все усилия ума человеческого. В половине января-месяца наши минеры услышали неприятельские подземные работы в 26 саженях впереди 4-го бастиона и, само собой разумеется, уничтожили галереи, ими открытые.

Приезд великих князей[39] оживил и занял Севастополь. Они жили в небольшом каменном домике на Северной стороне — в северной балке. Юные предводители царственной семьи русской не покидали своих верных воинов, наравне разделяя с ними все труды и опасности.

Одни вылазки с нашей стороны шли своим чередом, доставляя предмет для рассказов и суждений. Смелые предприятия наших удальцов повторялись беспрерывно; и только через них отчасти разнообразилась монотонность осады за это утомительное долгое время.

В одну из подобных вылазок сильно был ранен хороший наш знакомый, молодой лейтенант Т*. Товарищи его передали нам все подробности происшествия. Т*, в полном смысле слова храбрый, испытанный севастополец, с самого

---

* Bastion de la tour. *(Примеч. авт.)*

** Bastion du mât. *(Примеч. авт.)*

начала осады не покидал бастиона. С успехом участвовал уже он в нескольких вылазках; но перед последней имел какое-то недоброе предчувствие. Боязнь смерти, до тех пор не затрагивавшая ни разу его молодую, но закаленную душу, пришла ему на мысль с особенной ясностью. Рок увлекал его, и сам же он напросился на вылазку. Коротко знавшие Т* удивлялись внезапной его перемене, и самые неверующие печально посматривали на него.

Его мужество всем было известно; тут не могло быть никакого сомнения. А между тем перед вылазкой Т* был как бы потерянный: сделался задумчивым, рассеянным. Несколько раз прощался он с одними и теми же, забывал разные вещи, не слушал того, что ему говорили, ходил как будто в тумане. Даже по выходе уже с командой из бастиона он позабыл что-то взять с собой и почти с половины дороги вернулся за своей шашкой, широкий и тяжелый клинок которой, сделанный из косы, был остер, как бритва. Без этой шашки, по словам лейтенанта, он никогда не мог идти в дело.

Предчувствие Т*, к несчастью, вскоре оправдалось на нем; и его, тяжело раненного в грудь, принесли на плащах.

Первым бросился он в неприятельскую траншею и грудь с грудью столкнулся в темноте с высоким французским офицером, выросшим как бы из земли. Француз в упор выстрелил в Т* из пистолета, заряженного двумя пулями.

Вне себя с горячки, как бешеный кинулся француз на наших солдат с разряженным пистолетом; „ажно зубами заскрипел, разбойник“, говорил нам матрос, находившийся при Т* за ассистента и первый передавший все случившееся на вылазке. Француза схватили и вместе с Т* принесли на бастион.

Француз бился и бешено рвался, кусая даже руки державших его солдат. Нашли вынужденным бросить его на грязную землю, и кто-то из матросов заблагорассудил вылить ему на голову ведро воды; француз вскочил как встрепанный.

— Où suis-je donc?[*] — спросил он, бессмысленно на всех озираясь.

— Вишь! Дивится чему-то! — заметил кто-то из солдатиков.

— Как не дивиться, из Франции приехал! — заметил в ответ кто-то из толпы матросов.

— Вы наш пленник, — вежливо сказал пленному подошедший в это время командир батареи и, взявши его за руку, повел в свой блиндаж, где лежал несчастный Т*, которому делали необходимую первоначальную перевязку.

Француз-офицер был высокий, немного сутуловатый сухощавый мужчина довольно пожилых лет, с лысиной и редкими волосами на висках и затылке.

Тоска и досада ясно выражались на его лице, очень выразительном и прорезанном несколькими морщинами.

При взгляде на раненого он как бы вдруг вспомнил что-то, закрыл глаза руками, вскрикнув громким голосом:

— Ah! c'est horrible, — ah! je m'en souviens... ah, c'est l'officier russe![**] — и, кинувшись к лейтенанту, предался всем порывам страшного отчаяния.

Видя непритворную горесть француза, его стали увещать, говоря между прочим, что всему виной война, печальная необходимость — ее закон.

Но француз ничего не слушал и, взглядывая на раненного от его руки Т*, грустно качал головой, приговаривая:

— Dieu! que la guerre est, une horrible chose!.. — и по его щекам текли даже слезы. — Il pourrait être mon fils; j'en ai un, de son âge a peu près[***], — повторил он раз десять, указывая на Т*.

Все были расстроены этой сценой и видом страданий Т*, действительно ужасных.

Вылазка, впрочем, стоила названия „блистательной“ и вполне достигла своей цели.

---

[*] Где я? (фр.)

[**] А! Это ужасно, — А! вспоминаю…. Это русский офицер! (фр.)

[***] Господи! Какое же война жуткое дело!... Он бы мог быть моим сыном; у меня есть единственный сын, почти его сверстник. (фр.)

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Масленая. — Главные действия за февраль. — Дело с 11 на 12 февраля. — Библиотека. — Великий пост в светлые праздники. — Второе усиленное бомбардирование. — Смерть нашего батарейного командира

Настала и наша северная Масленая — время разгульного веселья по всему раздолью матушки-Руси. Масленица и на нас словно наложила обязанность веселиться нараспашку, оставляя все труды и занятия и отстраняясь от всякого рода забот. По возможности веселились и севастопольцы — блины забирались даже на бастионы. Осколки из черепков переименовались даже на это веселое время в блины; солдатики, пробираясь по земле, ими усеянной, говорили какому-нибудь рекрутику:

— Вот-те блинов накидала и подымай с полу, да и ешь на здоровье!

Не зная еще этого, раз я был удивлен, когда на спрос мой одного солдатика: „Чем ранен?“, тот ответил: „Блином, ваш благородие“.

Офицеры нашей батареи каждый день на Масленой пировали с пехотными офицерами нашей дивизии; жили мы с ними очень дружно и на службе, и в городе, сходясь как истинные приятели.

В пехоте офицеры вообще любят хорошо попить и покушать, совершенно придерживаясь пословицы: „Не красна изба углами, а красна пирогами“; у кого были средства, тот занимался хлебосольством в полном смысле; артиллеристов же они всегда любили. В особенности же привязан был каждый полк к своей батарее, как разделяющей с ним и труды, и славу, да и вообще сближенной с ними не через одну труд-

ную минуту осады. Неприхотливость, уменье сживаться с походной жизнью, наконец, полное сознание цены покоя — вот причины той удивительной способности пехотинцев вмиг всюду, будто у себя дома, основываться. На бивуаке ли, на постоянной ли квартире, в незадолго отнятом у неприятеля лагере или городе — всюду сразу расположится он так, словно век здесь стоял. У него все скоро поспеет, у него все мигом устроится, и через полчаса после прихода на новое место, смотришь, уж какой-нибудь усатый Микатюк или Карнаух состряпал обед на славу.

И теперь в Севастополе, так же как и всегда, радушие пехотных хлебосолов не понесло никакого изменения. Война не нанесла никакого ущерба гостеприимству. Положим, приглашает нас на блины хотя капитан Т* полка, ротный командир первого батальона. Истинно обрадовавшись, несколько раз пожимая обе ваши руки, приветливо проговорит он свое обычное, чрезвычайно идущее к его простому открытому лицу:

— Здоровенько, здоровенько; наконец-то заглянули!

Послышатся при появлении знакомых артиллеристов дружеские вскрики присутствующих: „Антиллерия!“ и пойдут приветствия. Наконец кто-нибудь заметит, что „артиллерия налицо, так не мешало бы того — и к делу!..“, на что несколько суетящийся хозяин добродушно ответит: „Одну минуточку! Сейчас должны приспеть блинчики“. Еще несколько раз сам он, юнкер его роты и еще кто-нибудь из молодых офицеров, ему подсобляющих, юркнут промеж тесной кучки гостей кто с бутылкой, кто с тарелкой и, наконец, появится торжественное шествие денщика и вестовых с разнообразной закуской и грудами дымящихся блинов. Угощение подобного рода и беседы, их сопровождающие, могли казаться однообразными, но зато они всегда были обильны веселостью. Однополчане хозяина, стоя и в этом случае за честь своего полка, все также наперерыв стараются угощать гостей, т. е. нас — артиллеристов; а балагур и весельчак штабс-капитан того же Т* полка, подливая гостю вина, процитирует известный стих Грибоедова:

Ну вот великая беда,
Что выпьет лишнее мужчина,
Ученость — вот чума...[40]

и, улыбаясь, делает ударение на слове „ученость“, указывая при этом на так называемый ученый кант[41] нашего артиллерийского воротника.

Так же гостеприимный хозяин, все угощая хотя совершенно уже сытых гостей, будет извиняться „в скудности угощения“, с той только теперь разницей, что прибавит: „на осадном положении, господа, не взыщите“, и, потирая руки, лукаво улыбнется, вспомнив о едва уничтоженной громадной закуске и грудах блинов.

Но вот все поприбирается, раскладываются столы, покрытые зеленым сукном, и хозяин, ловко разламывая в одной руке изделие Александровской мануфактуры[42], приглашает желающих, по его выражению: „гнуть карту“[43]; а не то: „в коммерческую“, прибавляя, что не надо терять золотого времени, что в девятом часу вечера он должен будет идти с ротой на бастион... Бастион... да! И немного неприятное чувство воспоминания о забытой было действительности опять приходит вам на мысль.

Так же сытно, как на всей Руси, хотя по-бивуачному, под пулями и ядрами, проводил Севастополь Масленую.

Еще с третьего февраля деятельно принялись французы за Восточную часть Севастополя, взяв на себя все по осадным действиям с этой стороны, кроме одного третьего бастиона, который предоставлен был англичанам, истощенным в числительной своей силе пагубным для них Инкерманским сражением...

— Grand redan — pour la Grande Bretagne*, — приведу здесь слова, сказанные мне впоследствии одним французским офицером.

Бедная мирная Корабелка![44] И тебе предстоит страшная опасность бомбардирования. Ужели подвергнется разрушению и этот скромный домик со своей уютной комнаткой,

---

* Великий бастион — для Великой Британии (фр.)

обитой голубыми обоями, с покойной, хотя и простенькой мебелью, где часто-часто находили мы истинное радушие и дружбу, где отдыхали и телом, и душой; где за круглым чайным столом порой совершенно забывались и от рокота вокруг гудящих выстрелов, и от самой смерти, которая, быть может, ждала нас в нескольких саженях от гостеприимного порога.

В противодействие новым затеям врага с нашей стороны составили смелый и решительный план, план почти небывалый в летописях какой бы то ни было старой или новой осады. Обороняющийся стал действовать наступательно!

С левого фланга нашей оборонительной линии гораздо вперед повыдвинули новые укрепления. Первое из них заложено в ночи с 9 на 10 февраля на отлогости Сапун-горы[45], образующей правый фланг Килен-балки[46], и по имени полка, производившего работы, названо Селенгинским редутом. Еще впереди и немного левее также соорудили потом Волынский редут. Изумленный неприятель пытался было попрепятствовать нам и всякий раз был отбрасываем назад с большим уроном.

Местность от Малахова кургана шла к стороне неприятеля, понижаясь до небольшого изволока, от которого, опять возвышаясь, заканчивалась небольшим пригорком*. Расстояния было 290 сажен[47].

Этим-то пригорком и намеревались овладеть французы; но наши, предвидя все их замыслы, опять устроили здесь новое укрепление, названное Камчатским люнетом[48] и заложенное с 26-го на 27-е этого месяца. Случайно довелось мне быть зрителем дела против первого из этих укреплений, начавшегося в два часа ночи, с 11 на 12 февраля.

В этот день, перед вечером, поехал я с одним офицером нашей батареи на Корабельную сторону, и, возвращаясь уже за полночь, встретили на пристани знакомого нам лейтенанта с парохода „Громоносец“. По его приглашению мы поехали к нему на пароход в гости; там подали ужин — мы все разговорились и незаметно засиделись до ночи. Уже пробила

---

* Mamelon Vert (фр.) *(Примеч. авт.)* — (Зеленый холм).

не одна склянка, а мы все сидели и болтали: время было свободное, расставаться не хотелось, а тот, кто бывал в осажденном городе, верно поймет всю приятность нашего тихого собрания. Внезапно по направлению вновь возведенного редута затрещал сильный ружейный огонь, и ясно долетело до нас по воде русское „ура!“ с громкими беспрерывными протяжными переливами.

Все мы выбежали на палубу, некоторые из числа экипажа взобрались на ванты. Вполоборота налево отлогость Сапун-горы, между Георгиевской[49] и Килен-балкой, была опоясана огнями. Луна, приватно до сих пор сиявшая на небе, как бы нарочно в эти минуты накрылась тучами, „испугавшись кровавого дела“, как говорится в романах.

Жадно глядели мы по направлению к месту боя, но надо признаться — больше слышали, чем видели.

Урывками стихала пальба, сменяясь какой-то странной, мучительной тишиной. Казалось мне, что иногда доносилось замиравшее эхо стонов, командных слов да ляскотня скрещивавшегося холодного оружия. Потом опять все заливалось частой дробью ружейной пальбы, похожей на стук града в окна, и за ней снова опять гремели сердце возбуждающие крики обеих бьющихся сторон во время наступления.

Мы все глядели, а уже наш пароход шипел, ворочался, двигался. На палубе его люди хлопотали около огромных орудий.

По данному сигналу державшиеся под парами пароходы: „Владимир“, „Херсонес“ и наш „Громоносец“ подлетели к месту боя на картечный выстрел и стали стрелять в неприятеля. Пальба, как говорят, была до крайности удачна.

Я и не заметил, как все это сделалось.

Мы все глядели (по крайней мере я, оставшийся без дела). По мере напряжения зрения предметы стали обозначаться яснее, да и расстояние было теперь невелико.

От сильного огня, порой совершенно все озарявшего, можно было отличить массы сражавшихся. В нескольких местах по две черневшихся стены напирали одна на другую, сталкивались, смешивались. Крики каждой толпы, набегавшей вперед при каждом наступлении, были полны энергии,

но потом ослаблялись и покрывались, наконец, стонами и болезненными возгласами раненых.

Французский строй своими синими мундирами заметно оттенялся от нашего, в серых шинелях. Видимо редели те стены, что казались чернее; колебались, сгущались, опять бросались; вслед за тем громче, сильнее раздавалось русское „ураааaa!“ — от которого просто так и порывало вплавь броситься к месту боя.

С удовольствием рассказывали наши солдатики про это дело.

— Хоть раз довелось потешиться, — говорили одни.

— Переведались с ним начистоту, — прибавляли другие.

— Не все ему бить из-за угла да из нор, — подтверждали третьи рассказчики после боя.

У многих наших было штыковых ран до пятнадцати; несмотря на это, раненые смотрели бодро и весело. Некоторые из них сами приходили на перевязочный пункт. О французах даже раненые отзывались с несколько комическим уважением.

— Молодец народ драться, — выражались иные солдатики, — да великатны оченно на штыки: царапаются только.

Действительно, раны от французских штыков, которые приходилось мне видеть, редко имели опасный характер. Не могу сказать того же о ранах, причиненных нашими штыками.

На перемириях и при уборке тел после штыкового дела французы всегда жаловались на нашу манеру колоться штыком. „C’est une abomination — c’est faire de la boucherie inutile*, — не раз повторяли они, глядя на ужасные раны своих убитых.

В самом деле, было чрезвычайно странно смотреть на исковерканные судорогами предсмертной агонии совершенно искаженные лица людей, заколотых штыками. Солдаты, убитые пулями, почти все лежали в покойных положениях, на их лицах не выражалось особенных страданий. Нечего и

* Это мерзость — устраивать бессмысленную бойню. (фр.)

говорить о том, что сами раны были не так отвратительны, и крови около них не было так много.

18-го числа уехали в столицу высокие гости из Севастополя; а через несколько времени после того долетела до нас молва о кончине государя императора Николая Павловича[50].

В начале февраля прекратились дежурства нашей батареи на бастионе; и оттого нам, офицерам, стало гораздо скучнее.

Погода по большей части стояла дурная; в невольном бездействии нашем заключалось что-то томительное. В городе делать было нечего, а ходить по укреплениям „ради наблюдений" было бы весьма неловко, не имея на них никакой определенной должности.

Одним из утешений моих в это довольно тяжелое время была севастопольская библиотека. В свободные часы, а их теперь выпадало довольно часто, хаживал я туда.

Необыкновенно приятно, даже обаятельно казалось мне после разных невзгод осадного положения перенестись вдруг в прекрасную залу и, сидя там на покойном вольтеровском кресле, следить за своими и иностранными новостями в мире политики и искусства. Тот не знает всей цены подобному занятию, кто не бывал в положении севастопольцев.

Изящное трехэтажное здание библиотеки Черноморского флота находилось на самом возвышенном месте города, отстоящем на 135 футов от уровня моря.

По бокам парадной мраморной лестницы красовались на пьедесталах два огромных сфинкса.

В нишах нижнего этажа поставлены были две статуи — Архимеда[51] и Ксенофонта[52], вышиной каждая в 16 футов[53]. Наверху здания, на портике, поддерживавшемся с парадного входа двумя ионического ордера колоннами, прежде стояло еще несколько статуй из белого каррарского мрамора, но во время осады они были сняты.

Чугунная высокая решетка окружала здание библиотеки, а возле здания находился небольшой хорошенький садик, в котором с первой весной все расцвело и распустилось.

Парадный вход был заперт. Все ходили с другого — со двора. Фуражка и сабля непременно отдавались внизу швейцару.

Поднявшись вверх по внутренней широкой лестнице, также мраморной, проходили в небольшое отделение с моделями разных кораблей, вделанными в стену, и превосходными гравюрами морских сражений. Оттуда открывался ход в огромную залу в два света с галереей вокруг, на чугунных кронштейнах, с чугунной же решеткой.

Налево от входа в эту залу стояла большая модель 120-пушечного корабля „Двенадцать апостолов". По стенам вокруг помещались большие шкафы для книг из красного дерева. Прямо вела дверь в другую залу с прекрасной кабинетной мебелью. Огромный стол посредине завален был журналами: французскими, русскими, английскими и немецкими. По стенам висели все лучшие русские ландкарты[54].

Неприятельские выстрелы не миновали этого великолепного здания. Бомба, пробивши потолок в первой зале, пролетела на ¼ аршина[55] от модели корабля, разворотила несколько квадратов паркета и разорвалась в подвальном этаже. От библиотеки направо сейчас же шло место, обнесенное каменной оградой, где заложен храм во имя Св. Владимира. Сюда, к Лазареву[56] и Корнилову[57], приютили и Истомина[58], которому адмирал Нахимов[59] уступил свое место.

О часах, проведенных мной в севастопольской библиотеке, память во мне сохранилась с большой живостью. Трудно было придумать что-нибудь свежее, спасительнее этих периодов отдыха в прохладных залах библиотеки.

Наступили дни Страстной недели, и многострадальный Севастополь отбывал память страданий и крестной смерти Искупителя. Мне без труда поверят, что подобной Страстной недели я никогда не переживал и, без сомнения, более не увижу в течение всей моей жизни. Неизъяснимая торжественность нашего положения сказывалась всякому, всякий молился и не мешал другим молиться. Простая, горячая набожность простых солдат, благоговейная задумчивость начальников, величавые обряды, совершаемые повсюду при громе пушек и при свисте пуль, — все это взятое вместе

уносило душу в области, редко ей доступные. Не забыть мне никогда, например, тех высоко умилительных мгновений, когда со священным пением под вражескими выстрелами, нарочно иногда направляемыми в нашу сторону, сановники и духовенство города выносили плащаницу. В ярко освещенном храме и вокруг него по всей улице множество молящихся с зажженными свечами в руках слушали божественное служение, дожидаясь радостного возглашения: „Христос Воскрес!“ Кто не молился с жаром из числа всей толпы, окружавшей церковь, кто не помышлял о всем величии минуты, мной сейчас описанной?

Прямо из церкви все офицеры нашей батареи отправились с добрым своим командиром разговляться к нему на квартиру. Следом за нами пришел и генерал-майор Тимофеев, давно подружившийся с нашим подполковником.

Всех нас собралось теперь семеро; и кто мог предвидеть, что из этого числа семи человек в живых останутся к будущим праздникам только трое...

Даже первый день Светлого праздника не прошел спокойно для Севастополя. Мы давно знали, что около Святой недели неприятель готовился к новому и страшному бомбардированию, давно уже припасая громадные средства.

Все мы, однако, полагали, что хотя первые дни праздников — „Великие дни“ — как говорит само их название, пройдут по возможности покойно.

Ожидания севастопольцев не сбылись, однако, ни в одном, ни в другом отношении. Общего бомбардирования не было, но не было и спокойствия. Пальба с батарей осаждающего шла без умолка, не делая нам особенного вреда, но раздражая почти каждого солдата, собиравшегося встретить праздник по-русски.

Носились у нас слухи, что союзники, совестясь вести огонь в первые дни великого праздника, насажали в траншеи турок. Не знаю, справедливы ли были эти толки, но пальба, действительно, велась худо и нелепо.

Все это не помешало, однако, севастопольцам провести праздник с обычной торжественностью и веселостью.

Женщины и дети, презирая опасность и явную смерть, шли на бастионы под пулями к мужьям, отцам, братьям, сыновьям похристосоваться, снесть освященной пасхи и порадовать их проблеском семейной жизни.

По долгу службы пришлось мне побывать в этот день на третьем бастионе поутру, часу в 11-м.

Все приняло праздничный вид даже на бастионах. Площадки усыпались песком, платформы пообтерли и повычистили, станки немного подкрасили, люди приоделись в лучшее платье, и право, кажется, позабыли, что находятся на бастионе, не под обыкновенной случайностью смерти.

У одной мортиры толпилась густая кучка матросов и пехотных солдат.

Я подошел к ним посмотреть причину этого необыкновенного собрания и невольно рассмеялся.

Какой-то удалец раскрасил разряженную двухпудовую бомбу вроде пасхального яйца, а другие готовились послать этот оригинальный снаряд неприятелю.

— Надо похристосоваться, как же, нельзя, вот дружку и красное яичко, — заметил один матрос.

— Битка важная! Авось англичан лоб-то подставит, — подхватил кто-то другой.

Не совсем ласково ответили англичане на эту военную шутку, почти безвредную, если принять в соображение, что крашеная бомба без разрывного заряда не могла никого поразить осколками. Вскоре после посланного нашими „красного яйца“ прилетела на бастион семипудовая бомба, наполненная разными гадостями, и вслед за ней с подобной же начинкой какой-то бочонок.

Имея поручение к одному батарейному командиру, я зашел к нему в блиндаж. Это была вырытая под одним из траверсов яма — почти в сажень глубиной (считая с вынутой частью траверса), шагов семь в длину и несколько менее в ширину, разделенная земляной же стеной, с отверстием в ней для прохода, на два отделения. Одно отделение назначалось для офицеров, а другое — для матросов той батареи. Толстый накатник покрывал верх и поддерживал насыпь траверса. Вход был общий, и спускаться надо было по двум

доскам с прибитыми на них поперечными брусками; эту лесенку солдаты также называли по-морскому: трапом.

Пробить подобный блиндаж было почти невозможно самой тяжелой бомбой, но если две бомбы большого калибра, одна за другой, падали в одно и то же место поверхности, опасность от второй была большая. Оно нередко и случалось, в особенности за последнее жестокое бомбардирование.

В спускающийся ход легко также могла спуститься бомба, что и случилось раз даже с описываемым мной теперь блиндажом.

Осколки равно могли залетать отсюда, хотя редко, случайно, как всегда говорится.

Полумрак господствовал в блиндаже даже днем, а потому свеча горела там постоянно. В блиндаже, куда я вошел, зажжена была в офицерском помещении прекрасная карсельская лампа[60]. В переднем углу висел образ „Божьей Матери всех скорбящих", с теплящейся серебряной лампадкой.

Вдоль стен шли деревянные прилавки, заменявшие кровати. Два-три ковра и подушки брошены были на них. На небольшом столике, покрытом чистой, тонкой скатертью, стояла пасхальная закуска. Все глядело по возможности опрятно в этом земляном боевом покое.

На матросской половине посредине, на столбах, утвержденных концами в полу и потолке, прилажены были двухъярусные нары, на которых и теперь лежало несколько матросов. Некоторые из них забавлялись „в носки"; кто-то пилил „Камаринскую" на скрипице, а другой в то же время наигрывал на гармонике: „По улице..."

Отправляясь назад, мимоходом заглянул я из любопытства в одну курлыгу, проще: фурлыгу. Так называли солдаты небольшую землянку на двух — много на трех человек, и то тесно в ней мостящихся. Курлыга состоит из небольшой ямы с навесом, прилаженным изобретательным русским умом. Несколько вместе сложенных камней — грубка — по солдатскому выражению, заменяла печь.

Осколок редко пробивал курлыгу; зато попавшая в нее бомба, истинно, погребала там несчастных обитателей, не успевших остеречься.

В той курлыге, куда я заглянул только, а не вошел, потому что как-то хитро, на четвереньках надо было туда вползать, один солдатик, развалясь и задравши ноги кверху, читал по складам какую-то засаленную (сказать „замасленную" было бы слишком мягко) книгу; двое других, сидя на корточках и бессознательно смотря на тлеющие уголья, покуривали коротенькие трубочки — „носовертки", иногда вздыхая и часто поплевывая на сторону, как-то сквозь зубы, с чрезвычайной ловкостью. Курившие солдатики, казалось, слушали чтение с необычайным вниманием.

Нужно было иметь крепчайшие и вместе привычные нервы, чтоб высидеть самое короткое время в тесном, душном пространстве, в синем дыме „махорки" и угара от тлеющих сырых дровец.

Вечером собрались к нам кое-кто из знакомых нам офицеров и между прочим капитан Т* полка, так радушно угостивший всех нас блинами на Масленой. Голова его была повязана.

— Что это с вами, капитан? — почти в один голос спросили мы его с истинным участием.

— Пустое! — небрежно ответил он, — осколочком немного задело (а на самом деле порядочно-таки пристукнуло — как рассказали его товарищи), — да и как раз в тот вечер — помните? После моих блинов. Я уж насильно вырвался из лазарета; скучно стало! А что же, карту сломим? — заключил он.

Долго засиделись мы — и легли спать уже в третьем часу утра с приятной мыслью поспать, по крайней мере, до полдня. Но предположения наши не совсем удались, как сейчас увидит читатель.

В пять часов утра заревело со всех концов новое истинно адское бомбардирование. Страшный свист, треск, гул, грохот раздались над самой нашей крышей и подняли всех нас на ноги.

Ошеломленные денщики наши бросились будить нас.

Не совсем еще освободясь от сладкого сна, свивавшего такие светлые, радужные мечты и образы, смутно угадывая действительность, лежал я еще с полузакрытыми глазами.

Денщик мой, полагая, что я все-таки сплю, изо всех сил стал тормошить меня за ноги, суетливо крича над самыми ушами.

— Бандировка, ваше благородие! Над самым домом ракиты лопаются.

Все мы вскочили и побежали к окошкам.

Даже в нескольких шагах ничего не было видно.

Дождь лил как из ведра.

Густой туман, смешанный с не рассеивавшимися от сырости клубами порохового дыма, застилал непроницаемой мглой всю окрестность.

Зловеще и тускло мелькали огоньки по всем направлениям семиверстного пространства укреплений, опоясавших Севастополь; в воздухе стоял оглушающий, ревущий гул канонады, прерываемый иногда взрывом пороховых погребов. Слушая этот бесовский концерт, я испытал подобное неловкое чувство, как в день моего первого обхода по бастионам. Служба моя начиналась в самом деле: все, что я испытал и видел до этой поры, — было лишь приготовлением. Война во всем ее ужасе наконец глянула мне в лицо.

Наскоро одевшись, отправились мы в парк к своей батарее в трепетном, невольном ожидании чего-то заставляющего сильнее биться сердце.

Ездовые с орудийными и офицерскими лошадьми также прискакали сюда. В конюшню к ним на Морской улице уже залетели две бомбы и ракета, в особенности перепугавшая лошадей своим шумным полетом.

К счастью, большая часть лошадей в это время была на утренней выводке.

Жители толпами сбегались к единственному теперь убежищу: Николаевской батарее, сделавшейся теперь истинным городом.

Забравшись в безопасный приют, когда первое впечатление ужаса поотлегло, мужчины, женщины, дети усыпали

галереи казармы, наслаждаясь грозным, но почти безопасным теперь для них зрелищем.

Целые драмы и комедии разыгрывались между жителями. Какие разнообразные группы виднелись повсюду!

Вот передо мной трогательная сцена вроде той, что изображена в последнем дне Помпеи у Брюллова[61].

Больного старика-отца принесли на руках сын и дочь; бестрепетно пробрались они через грозное пространство, но теперь, при конце подвига, силы оставили молодых людей, они сами словно больны и едва держатся на ногах. За ними безвредно приплелась и старушка-мать. Кое-как вся семья поместилась в углу, в коридоре, у казенного ящика с бомбами.

Какие-то молодые девицы, довольно нарядно одетые (неужели и теперь, в это утро, взглянули они лишний раз в зеркало!!), оперлись на перила галереи и, уже успевши освоиться со своим положением, беззаботно перекидываются любезностями с кавалерами из военных.

В стороне от девиц трое русских купцов, верно, заезжие гости, разговаривают между собой почти шепотом, крестясь иногда при близком разрыве бомбы.

— Господи! Господи! Пресвятая Богородица! — слышится из их круга.

— Хуже ада кромешного! — прибавляет один из них, и в эти минуты далеко от них главная цель их приезда, то есть надежда на барыш и выгодный сбыт своих товаров.

По улицам беспрестанно проносятся носилки; начальство проходит озабоченными спешными шагами, адъютанты суетятся, запоздавшие офицеры бегут к своим частям, везде скачут ординарцы и адъютанты.

По площади и перед казармой суета, и суета непонятная непривычному глазу. Там скачут конные офицеры, там передвигаются отряды солдат; двигаются повозки и фуры с водой, турами, снарядами, со всеми разнообразными предметами, потребными для бастионов.

Треск лопающихся бомб, грохот выстрелов, крики людей — все сливается в один непрерывный гул, которого описать невозможно словом человеческим. Суматоха перед гла-

зами, дым и огонь в отдалении, огни бомб на небе, невыносимый звон в ушах — тягостное ожидание на сердце!

— Дивизион 2-й легкой на 4-й бастион, на правый фланг! — во весь голос, с усилием, закричал нашему батарейному командиру прискакавший ординарец от начальника артиллерии.

Подполковник, давно уже стоявший на своем месте, тотчас же распорядился:

— Отправитесь вы и вы, — угрюмо сказал он, обратясь ко мне и к поручику нашей батареи.

— 2-й дивизион! Запрягай!.. — скомандовал поручик.

— Осмотреть заряды! Зажечь фитили, — прибавили мы оба, подходя к орудиям.

В это время шлепнулось у самых наших ног ядро, брошенное с Сапун-горы, с элевационного станка. Эти ядра* привыкли мы отличать по их равномерному, как-то стонущему полету. Грязь и мелкие камешки закидали нас будто из-под копыт скачущей тройки.

В пять минут орудия были уже на передках с выстроившейся по сторонам прислугой.

— С Богом! — сказал батарейный командир, пожимая руки мне и поручику. — Я к вам ужо приду! — добавил он, будто жалея отпускать нас без себя.

— До свиданья, — прибавил он, ласково махнув рукой.

Дождь все не переставал, он бил нас справа и слева, лился к нам на голову как из ведра. В самое короткое время все мы были промочены до последней нитки, до костей, как говорится.

Наш дивизион ехал молча. За грохотом выстрелов почти не было слышно, как катились по камням наши орудия. Туман, стоявший на суше и на море, еще более сгустился. Дождь, туман и пороховой дым задернули горизонт как занавесью. Только по приближении к морю можно было по черноте угадать дым военных пароходов, застилавший пространство над сильно разбурлившимся морем.

---

* Подобное ядро прозвали жеребцом. *(Примеч. авт.)*

Мы знали, что громадный союзный флот строился против Севастопольской бухты, более ничего насчет флота мы не знали, а видеть его было нельзя. Казалось мне, что вот сию минуту эта траурная занавесь прорежется бесчисленными огнями, что из-за нее сейчас полетит множество огромнейших бомб и ядер. Флот, однако же, за сильным волнением все время оставался в бездействии, не покидая своего боевого расположения во все дни бомбардирования.

Едва успели мы повернуть за угол Морской улицы, как прилетевшая с Херсонеса ракета, шумя точно пароход, проехавшийся по воздуху, пронизала вынос восьмого орудия, высоко вскинув растерзанного ездового и страшно исковеркав лошадей, от которых осталась лишь одна смешанная с грязью безобразная кровяная масса.

Истинно непонятно, как добрались мы до четвертого бастиона, как не были мы совершенно уничтожены на половине дороги тучами чугуна и свинца, летящего по всем направлениям.

Над нами, у ног, позади, спереди, направо и налево взвизгивали ядра, лопались бомбы, широко раскидывая осколки; шумя и фыркая, пролетали огромные конгревовы ракеты[62]. Как заколдованные, прошли мы через несколько опаснейших мест, не испытавши особенно значительной потери. Никакая фантастическая сказка не может дать понятие об ужасе описанного мной переезда, во мраке, в дыму и оглушающем шуме.

Даже лошади, вполне понимая всю близость опасности, фыркали и жались друг к дружке, притупляя уши и по временам вздрагивая всем телом.

Артиллеристы иногда шутили, перебрасывались друг с другом своими обычными заметками, но в шутливости их, если позволено будет так выразиться, видна была своего рода рутина. Солдатик всегда не прочь поговорить, отпустить шуточку, сто раз повторенную и всем известную — засмеяться при такой шутке всякий слушатель считает своим долгом. Так и теперь люди наши порой смеялись, но смеялись как-то машинально, по давно принятой привычке. Впрочем,

давно известно, что разговор, какой бы он ни был, всегда отвлекает ум от тяжелых помыслов.

Наконец мы добрались до цели. Я почти не узнал моей знакомой батареи. Грустная перемена с ней продолжалась теперь в моих глазах.

На площадку ее, где было столько народу, вещей, снарядов и всяких военных предметов, беспрестанно падали бомбы и ядра, порой зацеплявшие то человека, то какое-нибудь орудие. Другие неприятельские снаряды били в бруствер, врывались в амбразуры, визжа, свистя и шипя, пронизывая укрепление по разным направлениям.

Вал от врезывавшихся в него ядер, от зарывавшихся в него гранат и бомб, страшно разворачивающих землю, осыпался безобразной грудой земли и камней, дробимых порой на мелкие кусочки. Орудия — махины, из которых установка каждого занимала почти суточное время спешной работы, одним ударом, в одно мгновение приводились в негодность. Щеки амбразур часто загорались, и тогда кто-нибудь из солдат и матросов, иногда и офицер, перекрестившись, тотчас же брал мокрую швабру и влезал в амбразуру, истинно засыпаемую снарядами. Не один из подобных смельчаков жизнью платил за мужественное дело, но на место убитого всегда находился новый охотник. Люди с готовностью целыми партиями кидались в ту сторону, где от неприятельского огня повреждалось орудие. Под пулями и ядрами шла беспрерывная работа. Запасные орудия были подготовлены заранее, а потому подбиваемые переменялись с возможной скоростью.

Здесь не задумывались о смерти, да и некогда было, гораздо умнее и короче казалось всем: глядеть ей прямо в глаза, во всем остальном положась на волю Божию.

При мне за короткое время на батарее произошло множество случаев геройского бесстрашия, никем не рассказанных по причине изобилия в самом геройстве. Одно ядро взвизгнуло неподалеку от меня, пролетавши чрез самую средину одной амбразуры; здоровый, красивый матрос, наводивший орудие, с улыбкой что-то причитывавший к будущему своему выстрелу, незаметно осел, съежился, согнулся

и медленно рухнулся наземь; ядро снесло ему верх головы. Рядом стоявший товарищ, быстро сорвавши с себя шапку, поспешил нахлобучить ее на убитого и молча покойно заменил его место. Стоя на опаснейшем посту, на месте, забрызганном кровью своего предшественника, он хладнокровно наводил орудие, держась правой рукой за подъемный винт и командуя прочей прислуге: влево, немного вправо, чуточку еще влево и т.п. Ни минуты не было потеряно, и ответный выстрел загремел своим чередом.

Далее вправо семипудовая бомба упала на пороховой погреб, разворотила насыпь; другие бомбы дождем посыпались по тому же направлению, но кучка рабочих, вмиг подскочившая за матросом, надсмотрщиком погреба, засыпала воронку, не торопясь и не смущаясь.

Время шло очень скоро, да оно и не могло идти медленно. В полдень пришел к нам наш батарейный командир. Прежняя утренняя угрюмость его сгладилась; но все-таки он смотрел суровее обыкновенного. Мы с поручиком быстро вышли к нему навстречу: в подобные минуты так радостно видеть любимого начальника!

— Что, как у вас? — обратился подполковник к поручику и ко мне.

— Пока ничего, одно колесо разбито; трое людей ранено, одного наповал убило.

— Вашему дивизиону счастье, — заметил кто-то из пехотных офицеров.

Батарейный командир покрутил свой правый ус, что означало у него тяжелое раздумье, и, попрощавшись с нами, пошел далее.

Через час после нашего свидания дошел до нас слух о том, что наш командир тяжело ранен. Сперва мы не поверили слуху, но он вскорости подтвердился.

При возвращении с бастиона, почти у самой квартиры, осколок высоко разорвавшейся бомбы перебил ему руку и контузил в живот.

Горести, поразившей меня при этом известии, я описывать не в силах. Всякий солдат нашей батареи горячо любил

подполковника, имя его сто раз повторялось при рассказе о блистательнейших подвигах.

Он был честен и прям по сердцу, наружная суровость не вредила в нем ни начальнику, ни товарищу.

Переговоривши с моим поручиком, кинулся я навестить раненого.

— Нет надежды, — сказал мне встретившийся медик, — кишки парализованы при контузии.

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Конец бомбардирования. — Похороны нашего батарейного командира. — Сороконожка. — Боевой салют. — Главный характер неприятельских действий в апреле. — Посещение минных галерей. — Весна в Севастополе. — Бульвар и неприятельские ракеты. — История основания Севастополя. — Сбор пуль. — Перевязочный пункт Благородного собрания. — Новый батарейный командир. — Мой знакомый П*

Восемь дней продолжалась самая усиленная канонада и бомбардирование, верно названное адским. В особенности 30 марта огонь неприятеля был силен. Иногда до 30 000 снарядов бросал неприятель в сутки. От 7000 до 8400 пудов пороха издерживалось с обеих сторон ежедневно, не включая сюда ружейных зарядов, которых мы выпускали в сутки до 1 660 000; неприятель же, вероятно, гораздо более.

С 5 апреля огонь неприятеля стал видимо стихать и к 9-му постепенно перешел в обыкновенный.

Предпринимая подобное бомбардирование — „страшный суд в большом виде“ (en grand) — по выражению неприятелей, они, конечно, рассчитывали на решительные меры. Действуя своими орудиями, как демонтир батареями[63], союзники намеревались сбить нашу артиллерию — и броситься, наконец, на штурм.

Это бомбардирование — бойня в полном смысле слова — не принесло неприятелю никаких особенных результатов; но ясно выказало, чего может ожидать Севастополь от своих врагов, владеющих средствами всех портов Англии, Франции и Турции.

Яснее также поняли теперь союзники геройский дух защитников Севастополя и с тем всю трудность осуществления дальнейших своих замыслов.

В отдельных эпизодах я перед этим сделал посильное описание бомбардирования.

Вдобавок ко всем ужасам его представьте себе, что целые сражения давались за это время у твердынь Севастополя, что целые толпы бились насмерть, оспаривая каждый шаг дорогого клочка земли, и сходились они лицом к лицу, грудь с грудью, на штыки и сабли; и смерть от холодного оружия присоединялась к ревущей и реющей смерти от свинца и чугуна.

Неприятель действовал большей частью разрывными снарядами, даже прицельно. Частый вертикальный огонь, поддержанный ровным, как дробь, огнем пушек, был чрезвычайно губителен как для гарнизона, так и для земляных укреплений Севастополя. Впрочем, к утру за ночь все повреждения предыдущего дня постоянно исправлялись. Иногда порядочной кучке рабочих приходилось скопляться в какой-нибудь сильно поврежденной амбразуре, и вдруг эту почти сплошную массу живого тела пронизывала граната или ядро, кровавым следом запечатлевая свой губительный полет.

Большого труда стоила установка орудий, в особенности тяжелых калибров. Сначала нужно было устанавливать подъемную машину и осторожно, с осмотрительностью подымать и накладывать на лафет чугунную махину; в подмогу прислуге созывалась иногда большая часть прикрытия батареи; и все-таки случалось, что работа продолжалась с раннего вечера, как только смеркалось, вплоть до утра.

В это время бомбардирования большее внимание неприятеля обращено было на четвертый бастион — постоянную мету Канробера — и на наши контрапрошные верки: редуты Селенгинский, Волынский* и в особенности Камчатский люнет, как сильно выдавшийся к врагу.

* Редуты Селенгинский и Волынский назывались у французов: ouvrages Blancs (Белые укрепления). *(Примеч. авт.)*

Помнится, за несколько времени до этого бомбардирования было объявлено в одной английской газете, что снарядами, назначаемыми для него, можно бы выкласть всю площадь земли, которую занимает Севастополь; что готовящееся бомбардирование сбреет Севастополь. Словом, англичане выпустили утку; но многие, кажется, поверили ей.

Впоследствии, в оправдание своей неудачи, союзники всю вину сложили на дурную погоду и дождь, разыгравший в этом случае, некоторым образом, роль мороза 12-го года[64].

Слободки Артиллерийская и Корабельная, как самые приближенные к бастионам, сильно пострадали; развалины их, с торчавшими голыми трубами, с садиками и дворами, на которых ни души не было видно, представляли в лунную ночь что-то фантастическое.

Ураган разрушения проник и до половины Екатерининской улицы. Вообще остальная часть города, к северу, пострадала менее. Как бы то ни было, прежняя торговая и обыденная деятельность не уменьшилась; на улицах еще можно было встретить порядочных дам и детей; что же касается до шляпок средней руки и скромных платков, то они виднелись в изобилии.

Многих из своих храбрых героев-защитников лишился Севастополь в это бомбардирование; многим отвели вечное покойное помещение в одном из быстро разраставшихся кварталов Северной стороны.

Доктор был прав: мы должны были лишиться нашего доброго батарейного командира и скоро отдали последнюю, прощальную почесть Николаю Ивановичу Розенталю.

Последний день он был в забытьи; лишь за несколько минут до смерти пришел в себя и спокойным голосом проговорил: „Позвать господ". Исповедался он и приобщился Св. Тайн еще накануне.

Как ни торопились мы на зов, предчувствуя, что то был последний призыв командира, однако уже не застали его в живых — перед нами лежал холодеющий труп.

Мы все очередовались у постели больного; но на этот раз случилось обеденное время и при подполковнике не было даже очередного.

Мы всегда любили и уважали Николая Ивановича; но в минуту смерти, на рубеже вечной разлуки, чувства эти проснулись сильнее... Мысль, что у него есть жена, малютка дочь, что одна теперь вдовица, другая — сирота, что они, как все люди, живут надеждой — снова увидать его... мысль эта погружала нас еще в большее уныние и нам оставалось утешаться лишь тем, что командир наш умер честно и храбро.

Неприятель, не довольствуясь бомбардированием с сухого пути и между тем боясь ввести в дело флот (будучи раз уже проучен в бомбардирование 5 октября), придумал средство, немного, впрочем, приносящее ему чести. Обыкновенно в глухую, темную ночь, держась от наших береговых батарей не ближе как на 1000 саженей, неприятельский пароходо-фрегат, как тать, торопливо давал по залпу с обеих бортов и тотчас же улепетывал назад, вне наших выстрелов. При этих условиях, конечно, не могло быть верности в стрельбе, и снаряды его большей частью падали в бухту.

Наши целили по огню, и, наконец, выстрелы с Константиновской батареи задели его. Говорят также, что второпях неприятельский фрегат целым залпом угостил вместо нашего 10-го номера свою Херсонесскую батарею. Ночной боязливый набег этого пароходо-фрегата — сороконожки, как прозвали его, приносил более стыда врагу, нежели делал вреда нам.

С бульвара был прекрасный вид, когда в темную-темную ночь фрегат разом пускал несколько бомб. Гудящая, мрачная, бездонная даль над морем прорезывалась вдруг широкой огнистой полосой, выбрасывавшей из себя несколько огненных шаров светлым букетом, быстро направлявшихся к городу, и доносился, наконец, по воде глухой перекатный грохот залпа целым бортом.

17-го, в день рождения государя императора, Севастополь прогремел многолетие Его Величеству и всему царственному дому по-своему: 101-м боевым салютационным выстрелом.

Красивый вид представлял в этот день наш Черноморский флот, разукрасившийся бесчисленными флагами и вымпелами.

По показаниям пленных и перебежчиков, у союзников между главнокомандующими, Канробером и лордом Регланом[65], произошел разлад. Следствием этого было то, что первый сложил с себя начальствование. Преемником его назначен был маршал Пелисье[66], совершенно противоположный своим крутым, энергическим характером Канроберу, методическому и осторожному. И действительно, Пелисье выказался с первых же шагов.

Неприятель теперь видимо стал действовать предприимчивее и решительнее. С его стороны часто стали производиться местные канонады и бомбардирования. Упорнее начал он вести свои подступы и решился на крайние меры сопротивления по выводу нами новых контрапрошей.

Я давно уже собирался побывать в наших минных галереях, чтобы вблизи посмотреть нашу борьбу с неприятелем под землей, борьбу, столь славную для нас, в которой мы постоянно имели решительный перевес над врагом. Лучшее тому доказательство то, что неприятель ни в одном месте не подкопался под наши бастионы, ни одной батареи не подорвал у нас, всюду останавливаемый, всюду предупреждаемый нами. Пелисье до того был взбешен подобными неудачами своих минеров, что в случае нового неуспеха грозил расстрелять капитана, заведовавшего минными работами против 4-го бастиона. Капитан этот передался к нам.

Улучив время, я нарочно пошел на Шварца редут, где саперный офицер был мне знакомый. С ним я отправился в севастопольское подземное царство. Прямо с редута спустились мы приблизительно по восемнадцати ступенькам в потерну[67], тянувшуюся на протяжении семнадцати саженей, до самого эскарпа[68], в который она и выходила. Насупротив, в контрэскарпе, начиналась галерея не так уже просторная, фута в 4½ высоты; тут с трудом могли идти два человека рядом.

Дневной свет мерцал слабее, мы погружались все более и более во мглу, нас обдало могильной сыростью... С непривычки я едва мог различать предметы, несмотря на то, что здесь горели, не в дальнем друг от друга расстоянии, стеариновые свечи, вставленные в особого рода шандалы, воткну-

тые в земляную стену. Подаваясь вперед, надо было идти, уже принагнувшись, потому что галерея, углубляясь вперед, постепенно понижалась и, наконец, достигла только трех футов высоты. От дневного света нас отделял пласт земли в восемнадцать футов.

Я почувствовал некоторое головокружение. Гробовая теснота, мрак и сырость непонятной тяжестью давили грудь, возбуждая какую-то тревожную тоску. Чтобы пройти в нижнюю галерею, нам нужно было опуститься еще на тридцать девять футов. Сорок ступенек вели туда. Пласт известкового камня шел до самой вершины галереи, откуда начинался уже пласт желтой глины.

Даже привычным людям трудно было дышать. Вентиляторы беспрерывно очищали воздух, который сильно портился от человеческого дыхания и горения свечей. Время от времени вспрыскивали известковым молоком или окуривали хлором. Свечи не могли здесь иначе гореть, как наклонно. Во многих местах просачивалась под ногами вода.

Я не мог в этом месте оставаться долго и поспешил подняться в первую галерею; там все-таки было не так тяжело. Мне непременно хотелось добраться до головы работ; а потому и вышел я в ров немного подышать свежим воздухом. Через несколько минут я опять отправился в подземное путешествие, пробираясь под конец на четвереньках. Я попал как раз на интересную минуту: слышно было, как работал неприятель.

Наши прошли галереей на 25 саженей.

Неприятель слышался с левой стороны. Я приложился ухом к одной из пробуравленных в левой стене слуховых дыр, и едва-едва различил отдаленный, довольно слабый глухой гул. Саперы же отличали в нем даже стук инструментов и находили, что неприятель должен быть в 7—8 саженях, не далее.

Новость положения, неопределенный свет, спертый воздух — все это сильно действовало на воображение: порой казалось мне, что я уже не выйду из этого земляного гроба... Признаюсь, в первые мгновения при вести о заслышанных работах неприятеля мне стало жутко.

„Нет, думал я, — лучше получать двадцать пуль на бастионе, чем быть погребенным заживо здесь под землей“.

Мысль эта промелькнула мгновенно. Осмотревшись и одумавшись, я ободрился и скоро был увлечен любопытством.

При мне велено было приостановить наши работы и выжидать дальнейших действий врага, чтоб дать ему потом камуфлет[69].

Перед неприятелем мы имели теперь важное преимущество — самое главное в подземной войне: мы были ниже его.

Необыкновенно приятное ощущение испытываешь, оставляя эти тесные, могильные подземелья; когда, добравшись до выхода, вдохнешь свежую струю неиспорченного воздуха, когда глаз, который не мог примириться с неопределенным полумерцанием и между тем уже успел отвыкнуть несколько от нормального света, снова увидит этот мягкий, ласкающий свет дня, — о, какая тяжесть спадет с сердца, с каким восторгом глубоко потянешь этот воздух грудью, с какой жадностью начнешь всматриваться во все окружающие предметы!

Комната офицера находилась в потерне. Это просто была ниша почти в сажень высоты, шагов семь в длину и немного менее в ширину, вся обшитая досками.

Над чисто постланной складной железной кроватью развешен был по стене прекрасный ковер. У складного столика стояло довольно изящное вольтеровское кресло, которое как-то странно смотрится при такой обстановке и в таком исключительном месте. У изголовья висела этажерка, полная книг. На небольшом выступе, в углу, помещалось все хозяйство: маленький складной самовар, несколько стаканов и шкатулка с чаем и сахаром. Две стеариновые свечи, горевшие постоянно, и днем и ночью, довольно удовлетворительно освещали эту подземную квартиру. Хозяин ее, саперный офицер — мой спутник, угостил меня рюмкой отличного вина, нелишнего для меня теперь, после непривычного вдыхания испорченного, подземельного воздуха. Через несколько дней приходился день именин этого офицера, и я получил приглашение на пирог, который хозяин хотел раз-

делить с гостями и запить шампанским непременно в своем подземелье.

С 27 по 30 апреля беспрерывно шел дождь, истинно благотворный. Южная весна принарядила своим убранством даже Севастополь, кой-где зазеленевший и расцветший. Екатерининская улица стала чем-то вроде натурального бульвара. Кроме деревьев, насаженных в некоторых местах по сторонам тротуара, на нее выходили небольшие садики, обнесенные палисадниками. Портики и колонны, балконы и навесы обвивались зеленью ползучих лоз винограда и плюща. Персиковые и абрикосовые деревья, виноград и роскошные южные цветы — все зазеленело, расцвело и заблагоухало.

Под четвертым бастионом, у конца Екатерининской улицы, по левой ее стороне, возле полуразрушенного двухэтажного каменного домика, раскидывался по небольшому склону порядочный садик; проходя мимо, нельзя было не заметить его. Несмотря на настоящее запустение и разрушение, все в нем было так хорошо и уютно; так увлекательно манили сирень и пахучая акация под свою роскошную, свежую, благоуханную сень.

И странно было здесь, перед обновляющейся, полной жизни природой испытывать страх смерти, ежеминутно напоминающей о себе благодаря близкому соседству бастиона.

С весной невольно повеяло на Севастополь живительной отрадой, стало привольней и веселее. Сам рокот выстрелов, казалось, отдавался теперь не так угрюмо.

Под таким чудным голубым небом, перед улыбающейся природой весь ужас возможности близкой смерти казался подчас совершенной химерой. Но такая мысль ненадолго овладевала человеком: беспрерывно свежую, молодую зелень орошала свежая, теплая кровь...

С началом хороших, ясных дней устроились постоянные гулянья на бульваре, который примыкает к памятнику Казарского. Теперь имелся лишь один этот бульвар.

В мирное же время был другой, находившийся почти на месте теперешнего 4-го бастиона и называвшийся: „боль-

шим“, в отличие от настоящего, который носил название „маленького“ или „мичманского“.

Музыка играла у павильона, и толпы гуляющих сновали до позднего вечера, с конца в конец, от памятника до подъема к библиотеке.

В особенности приятно было гулять здесь, когда идущие по склону аллеи белых душистых акаций распустились и наполнили воздух благоуханием, показавшимся самым нежным и освежительным для нашего обоняния, привыкшего лишь к запаху порохового дыма.

Случайная залетная птичка чиликала также порой, пугливо перепархивая, когда вдруг усиливался гул и рокотанье выстрелов.

Все эти проблески — обстановка жизни мирной, ненасилованной у природы, детски радовали сердце, исполняя его тихой радости.

Гулянье постоянно было оживленное.

Разнородный люд спешил прийти на бульвар — послушать музыку. Конечно, военных сравнительно было гораздо более. Здесь перемешивались все чины. Можно, однако же, сказать, что на верхней площадке, где играла музыка, вообще собиралось отборное общество.

Если же и забирались сюда писари или какой-нибудь солдатик да матрос (юнкеров, конечно, причисляю я к офицерскому обществу), то это были уже люди или с глубоким сознанием собственного достоинства, опрятно одетые, непременно с перехватцем в талии и с особенно цивилизованным видом; или такие, которые находились под особенно приятным настроением духа. Настроение это выражалось под видом какой-то развязности, что мне, мол, море по колено, что мы, мол, свое дело знаем... Так, например, если случалось, что трезвый товарищ предупреждал посредством энергического подталкивания под бок подгулявшего приятеля о приближении офицера, то подгулявший выражал подобного рода рассуждения:

— Ну, что ж, что офицер? Офицер, так офицер и есть! Знаем, что офицер! Его благородие! Да... и фуражку следует снять, и фрунт, значит, как следует отдадим.

Затем, становясь во фронт перед мимо идущими офицерами или снимая фуражку, гуляка, неизвестно к чему, прибавит:

— Виноват, ваше благородие!

Большая часть черной публики рассыпалась по нижним аллеям и между отдельными кустами акаций и сирени, разбросанных там и сям по скату бульварного возвышения. Оттуда слышался веселый смех и энергические, но нужные возгласы, сопровождаемые визгом и писком.

Несколько дам, большой частью из семейств морских офицеров, приходили также на бульвар послушать музыку и подышать свежим морским воздухом. И дам этих, помимо удивления и уважения к ним за их решимость не разлучаться с родными им людьми до последней возможности, должны благодарить все севастопольцы. Присутствие женщины везде и всегда вносит в общество что-то милое и отрадное; в Севастополе же в особенности приятно было видеть женское личико. Как-то легче становилось на душе, и невольно скрадывался весь ужас окружающего.

Всех цветов камелиями, или новее — травиатами*, Севастополь, можно сказать, цвел в достаточном количестве.

Простой рабочий класс женщин доставлял Севастополю серьезную выгоду. При трудной службе осажденного города помощь их сказывалась виднее.

По крайней мере, можно было иметь всегда чистое белье — вещь немаловажная, необходимая, как свежий воздух. Даже начальство, видя всю пользу, должно было сквозь пальцы смотреть на присутствие некоторого числа рабочих женщин. Многие солдатики, как говорится, были словно у Бога за печкой, пообзаведясь кумушкой, которая его и кормила, и поила, и обмывала.

Как бы то ни было, женщинам не обходилась даром их решимость не покидать осажденных: в Севастополе можно было видеть порой женщину без руки или на костыле; равно как и детей. Одна прехорошенькая девица была ранена

---

* Либретто оперы „Травиата“ было написано Ф.М. Пьяве по мотивам романа „Дама с камелиями“ А.Дюма-сына. *(Примеч. авт.)*

осколком в ногу выше колена и умерла, ни за что не согласившись на ампутацию.

Вскоре неприятель получил новый запас ракет и стал угощать ими город, поставя на военную ногу и мирные части его. Но гулянья от этого не прекращались. Ракеты пускались большей частью перед вечером с Сапун-горы и Херсонеса. Нужно отдать справедливость неприятелю, ракеты его были весьма хороши, летели на пять верст расстояния.

Сила этого снаряда удивительная: некоторые ракеты с Сапун-горы, прилетая к бульвару, врывались в землю почти на два аршина. Я захотел иметь экземпляр их и должен был порядочно заплатить за отрывание. Отрытая ракета была с зажигательным составом, заключавшимся в особом цилиндро-коническом колпаке, сделанном из такого же листового железа, как и ракетная гильза, привинченном спереди нее. Деревянный хвост, с внутренней пустотой по оси его и наружными ложбинками или долами во всю длину его, также привинчивался.

Как сильно действие этих ракет, видно из того, что одна ракета с Херсонеса, упавшая возле самой Николаевской казармы, убила артиллериста, отбросив ногу его на крышу казармы!

Гуляя по бульвару, я часто любовался удивительным видом, открывающимся отсюда. Одним взглядом можно было окинуть и Сапун-гору, белеющую своей обрывистой, известковой вершиной, охваченной сильными неприятельскими батареями, между которыми грознее выказывался редут Виктория; и линии правофланговых неприятельских траншей, обозначавшихся взрытой землей и беспрестанно выкатывавшимися оттуда небольшими белыми клубами дыма от штуцерной перестрелки; и наш Малахов курган — третий бастион, почти вся наша оборонительная линия. А далее надолго приковывало взор Черное море с рядами вражеских кораблей, повеселевшее с приближением весны, отогревающееся под голубым светлым небом, на южном солнце. Невольно в это время переносилась мысль к первобытному Севастополю. По происхождению своему Севастополь чисто русский город.

Еще в последние годы ханского владычества матросы пригнанных к здешней бухте поздним временем русских кораблей, получив позволение остаться на зимовку, основали здесь несколько землянок. Впоследствии разрослась здесь небольшая деревенька. Местность ее, состоящая из белых известковых холмов, вероятно, была поводом к наименованию деревеньки татарами Ахтиаром (акъяром), что значит белый утес.

По присоединении Крыма к России Ахтиарский порт найден был превосходным, и 7 мая 1783 года эскадра вице-адмирала Клокачева[70] первая введена была в него для зимовки и была сдана контр-адмиралу Меккензи[71], который и положил основание Севастополю.

Нынешняя Меккензиева гора, получившая в настоящее время такую большую известность вследствие своего стратегического положения, подарена была императрицей Екатериной II[72], в числе прочих владений, адмиралу Меккензи, по имени которого и была тогда прозвана. Густой лес покрывал ее; но теперь, в продолжение осады, вырубался он по необходимости.

Знаменательное имя „Севастополь“ дано было городу, как говорят, самой Екатериной II. Оно составлено из двух слов: сево или севазамаи — почитаю и полис — город, то есть почитаемый город или, иначе, знаменитый город. Теперь, думал я, конечно, каждый признает за ним это пророческое наименование.

В настоящее время говорят даже, что это новая Троя[73].

Не могу не вспомнить при этом шутливого замечания, высказанного раз кем-то из севастопольцев при сравнении Севастополя с Троей. Это, сказал он, „Троя — втрое“.

С оживившейся природой неминуемо оживилась и осада. Влияние этого отразилось и на нашей батарее; все офицеры, кроме обыкновенных своих служебных занятий, получили новые назначения.

Между прочим, мы по очереди ходили в Адмиралтейство для приема собираемых неприятельских пуль и выдачи за них денег. Это была прекрасная мера со стороны нашего начальства. До 120 пудов пуль собиралось в иной день. За

каждый фунт положена была плата. Матросы и пехотные солдаты толпами приходили с посильной находкой и получаемые ими за нее деньги были для них истинной находкой. Ребятишки также часто приносили свою долю собранного свинца, когда-то несшего с собой смерть.

Раз я был поражен благородным видом одного мальчика лет 12-ти, притащившего в мешочке четыре фунта собранных пуль.

Я стал его расспрашивать и узнал, что он сын цейхвахтера[74], убитого еще во время первого бомбардирования, 5 октября, ядром; что мать очень больна и не встает даже с постели; а десятилетняя сестра сильно ушиблена с неделю тому назад камнем при разрыве бомбы и также лежит теперь; наконец, что хотя государь, как он выразился, и прислал им денег через начальников, но денег этих недостаточно для них, а потому и решился он добывать кое-что со сбора пуль.

— Разве же вы не боитесь быть убитым? — спросил я его. — Ведь где больший излет пуль, там и собирают их.

— Нет, не боюсь, — ответил он с совершенно спокойным, детски простодушным видом. — Я бы и к пушке пошел; право, не боюсь! — прибавил он.

— Да как же пускает вас матушка?

— Она не знает; я не говорю ей.

Я сказал этому мальчику, что он, вероятно, ошибся; пуль оказалось не четыре фунта, а целых десять, и за прибавленное количество доплатил из своих денег.

Наша семья офицеров батареи вновь понесла потерю: поручик М* сильно был ранен штуцерной пулей в грудь. Мы часто навещали его, когда он лежал на перевязочном пункте, в доме Благородного собрания. Потом рана его получила хороший исход и его отправили на Северную сторону.

Прекрасное помещение Собрания, на роскошное убранство которого всегда роптали дамы, так как оно скрадывало своим великолепием блеск их нарядов, наполнено было теперь госпитальной мебелью — известными зелеными кроватями и столиками. Не блестящая, нарядная толпа, веселившаяся здесь когда-то под обаянием звуков бальной музыки,

но страдальцы-герои наполняли боковые комнаты и пышную, даже в теперешнем своем виде, залу с беломраморными стенами. Тяжелый госпитальный запах обдавал входящего; стоны и крики ампутируемых и перевязываемых неприятно поражали слух. Присутствие сестер милосердия было здесь истинным небесным благодеянием и видимо сказывалось во всем. Нужно было удивляться твердости духа, с каким эти слабые по своей природе существа переносили все ужасы и труды по уходу за ранеными. Это подвиг, и подвиг высокий. Сколько через это сгладилось слез отчаянья, сколько облегчилось страшных минут страданья!

Разве можно сравнить женскую материнскую заботливость и нежную женскую руку с грубым обращением и ручищей солдата-фельдшера или его помощника? Без преувеличения можно сказать, что появление сестер милосердия — сестриц, как звали их солдаты, — было для Севастополя истинным благодеянием.

Я сам был свидетелем того отрадного влияния, которое сестры милосердия оказывали на страждущих. Одному матросу приходилось делать трудную, важную операцию. Бедному предстояли ужасные мучения. С первыми действиями хирургического ножа на лице раненого, сильного сложения мужчины, выразилось невыразимое страдание; сдерживая, однако, крик, невольно вырывающийся из тела, он поманил возле стоявшую сестру милосердия.

— Сестрица, — сказал он ей, — позвольте мне вашу ручку — все будет полегче, — и, крепко сжавши тотчас поданную ему руку, он терпеливо перенес всю операцию. Бедняга, быть может, воображал, что сжимает руку матери, сестры или жены, которых оставил давно и далеко...

Невольно мороз пробегал по коже, глядя на отрезанные руки и ноги.

Наконец прибыл к нам новый батарейный командир, капитан, молодой еще человек высокого роста, полный мужественной красоты. Своим простым, открытым обращением он с первого раза понравился всем. Вдобавок он был музыкант: часто подслушивали мы его превосходную игру на флейте.

Гуляя однажды после обеда по бульвару, я заметил одного статского щеголевато и изящно одетого человека, еще очень молодого. Фигура его казалась мне знакомой. Действительно, это был П* — мой однокашник. Он служил в конной артиллерии, но по особым, домашним обстоятельствам вышел в отставку перед самым началом нынешней кампании. При первых севастопольских громах он сейчас же подал просьбу о поступлении на службу и, не дождавшись даже определения, прискакал из своего новгородского поместья в Севастополь, чтобы, не теряя времени, примкнуть к его защитникам хотя волонтером. Еще более удивился я, когда узнал, что он — жених. Встрече со мной обрадовался он тем более, что не имел в Севастополе никого знакомого.

Мы условились с ним вместе отправиться на другой день к генерал-лейтенанту Хрулеву[75]. Неотступно также просил меня П* немедленно свести его на один из бастионов; но я отклонил его, представляя на вид, что, может быть, с завтрашнего же числа получит он назначение на бастион и вдоволь успеет тогда наглядеться на него и набраться сам сильных ощущений.

Назавтра случился светлый, ясный день. Ранним утром отправились мы с П* на Малахов курган, где жил генерал-лейтенант Хрулев.

Пройдя мост через Южную бухту, едва мы стали подыматься под гору, как две бомбы, одна за другой, слетели совершенно невдалеке от нас, так что при падении каждая ясно обозначилась небольшим черным шаром. Опасность была очевидная.

— Ложитесь! — крикнул я П*, сам поспешно приседая на колено.

Потерялся ли П* или не вполне сознавал опасность, только он промедлил несколько мгновений и опустился наземь уже мертвым.

Странно был он убит! Разом двумя осколками. Один врезался ему в грудь, другой пронизал череп.

Над моей головой также проурчал огромный осколок, и, не принагнись я, постигла бы и меня участь П*.

Я подошел к убитому и осенил его крестным знамением. Ни один еще случай смерти не поражал меня так сильно, как смерть П*. До сих пор, по крайней мере, мне не приходилось быть свидетелем гибели такого молодого, полного светлых надежд человека.

Не меньше поражены были и все мои товарищи, когда, придя домой, рассказал я им о случившемся. С П*, образованным, прекрасным молодым человеком, познакомились они вчера через меня и невольно приняли в нем большое участие.

Люди и вещи П* переправились на Южную сторону лишь только теперь. С грустью отослал я их, сказав, что они могут ехать обратно в свою Новгородскую губернию, но только без барина, который останется здесь навсегда...

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

Дело с 10 на 11 мая. — Май месяц в Севастополе. — Обозрение неприятеля с обсерватории Севастопольской библиотеки. — Краткое обозрение Камчатского люнета и редутов Селенгинского и Волынского. — Несколько слов о наших ложементах. — 26 мая. — Уборка тел

Против 4-го бастиона неприятель постоянно вел ожесточенную атаку.

Против пятого, в особенности на пространстве между кладбищем и Карантинной бухтой, неприятельские работы стали подвигаться также настойчиво.

Нашему правому флангу угрожала теперь опасность; к тому же он был слабее левого, усиленного целой передовой оборонительной линией; а потому генерал-лейтенанту Хрулеву, ставшему уже душой знаменитой обороны, поручено было, вместо командования левой половиной, начальство над 1-м и 2-м отделениями севастопольской оборонительной линии. Вдохновенно сообразил он меры противодействия врагу, составив план новых контрапрошей[76].

Выгоды от этого были большие: мы не давали врагу утвердиться на местности перед 5-м бастионом; значительно затрудняли его наступление на 4-й бастион и освобождали от сильного огня наши траншеи и батареи, лежащие правее этого бастиона.

Словом, мы сокращали нашу правую оборонительную линию и отдаляли врага подобно тому, как против Корабельной стороны.

Намерение было превосходное, отлично соображенное. Главнокомандующий[77] тотчас же одобрил план генерал-лейтенанта Хрулева, проверенный генерал-майором Тотле-

беном, но при тогдашних обстоятельствах Севастопольского гарнизона невозможно было дать требуемого по плану числа людей.

По мнению же генерал-лейтенанта Хрулева, траншеи следовало нам вывести в одну ночь; а в следующую предполагалось уже повести атаку на наши траншеи, занятые неприятелем в ночь с 19 на 20 апреля.

Настала туманная ночь с 9 на 10 мая. Осторожно и тихо вышли наши войска из-за укреплений и начали предполагаемые работы.

Я также находился здесь в числе артиллерийских офицеров, посланных для ознакомления с местностью.

Солдаты, как бы сознавая важность предпринимаемого, работали живо и осмотрительно. Впереди расположилась цепь. Секреты* поползли к неприятелю как можно ближе, чтоб замечать малейшее его движение.

Приказания отдавались тихо — шепотом. Генерал-лейтенант Хрулев и с ним генералы Семякин[78], князь Васильчиков[79] и Тотлебен присутствием своим и распоряжениями ободряли и ускоряли работы, очень затруднительные в оказавшемся каменистым грунте.

Было что-то таинственное в этом молчаливом ночном предприятии. Перестрелка с бастионов шла обычная. Кое-где мигала в туманной, мглистой дали бомба, быстро пролетала, описывая светлую траекторию, лахматка; или грохотало дежурное орудие, посылая невидимое ядро, да трескотали неугомонные штуцера. Я с удовольствием расхаживал по месту работ, доступному теперь, но долженствовавшему с рассветом дня перейти опять в запретное состояние.

Настоящие работы наши производились на скате хребта, обращенного к неприятелю, а потому неприятельские снаряды, пускаемые в этом направлении по нашим укреплениям, перелетали через головы работавших.

---

* Секрет (воен.) — дополнительный сторожевой пост, располагаемый скрытно со стороны противника; место расположения такого поста // Большой толковый словарь. СПб., 1998. *(Примеч. ред.)*

Неприятель, конечно, не ожидал такого смелого и решительного шага осажденных на этом пункте; вследствие чего мы не встретили ни малейшего сопротивления и потеряли лишь одного человека раненым*.

С рассветом французы с удивлением увидали перед собой целую линию траншей бастионного начертания. День прошел незаметно в перестрелке с неприятелем из вновь начатых траншей.

Наступал вечер; следовало ожидать нападения неприятеля. С сумерками генерал-лейтенант Хрулев приказал подкрепить штуцерных, засевших в новых полувыведенных траншеях, целым батальоном. Войскам, назначенным для окончания работ предыдущей ночи, приказано было забирать туры, мешки и прочий рабочий инструмент.

В девять часов егерские — генерал-фельдмаршала князя Варшавского и Подольский полки и 2-го батальона Житомирского егерского полка потянулись за оборонительную линию по направлению к новым траншеям.

Непроницаемая темнота безлунной ночи раскинулась над осажденным Севастополем. Совершенная тишина вместе с темнотой ночи распространилась по всему нашему правому флангу. Даже неприятельские батареи утихли.

Только на Селенгинском редуте мелькали и слышались вдали редкие ружейные выстрелы.

Вдруг по всему протяжению вновь заложенных траншей засверкал самый частый, беглый штуцерный огонь; послышалось: „Vive l'Empereur'!“** и наше „ураааа!“, по всем неприятельским траншеям заиграли рожки и сигнальные трубы... Казалось, каждый их тон звучал теперь торжественнее. Войска наши не успели дойти по назначению, как выжидавший неприятель предупредил их, бросившись на полувыведенные наши траншеи.

В один миг труды предыдущей ночи очутились в руках неприятеля, постоянно прибывавшего.

---

* Донесение главнокомандующего. *(Примеч. авт.)*

** „Да здравствует император!“ (фр.)

Сразу мы должны были выбивать его штыками. Через это объясняется значительная наша потеря в этом кровавом бою.

Но и неприятель сделал ошибку, подав боевой клик раньше, чем следовало; поэтому он слишком рано подвергся нашему батальному огню штуцерных, находившихся в атакованных траншеях.

Возобновляя свои нападения с величайшим упорством, носившим на себе видимый отпечаток непреклонной воли Пелисье, неприятель ввел в дело до семнадцати батальонов, в числе коих, кроме двух батальонов гвардии, было два батальона „Chasseurs de Vincennes“ (Венсенских стрелков) и два батальона Иностранного легиона.

С нашей стороны участвовало в деле лишь двенадцать батальонов.

Бой достиг чрезвычайного разгара. Несколько раз неприятель бросался в штыки, но постоянно был опрокидываем. Батальоны Подольского егерского полка, отбивши штыками нападающих, преследовали врага далее до самых его окопов, у переднего угла кладбища, и часть их разорили.

Последнее ожесточенное усилие неприятеля сокрушил неотразимый удар прибывших на помощь к сражавшимся войскам наших батальонов Минского пехотного и Углицкого егерского полков.

Более пяти часов продолжался кровопролитный бой. Наконец с рассветом неприятель, окончательно отбитый, отступил в свои окопы. Генерал-лейтенант Хрулев сам водил войска в штыки. Генерал-майор Адлерберг[80] был убит в голове колонны, направленной им на неприятеля, на штыки. Сын этого генерала[81], не участвовавший в деле, но отправившийся в него для отыскания тела отца, также был убит.

При начале боя я находился в числе зрителей, собравшихся на бульваре, несмотря на то, что бомбы порой залетали и сюда.

Даль над бастионами правого фланга гудела и горела беспрерывными огненными вспышками орудийных выстрелов, которым вторила перекатная ружейная пальба. Крик: „ура!“ долетал порой по ветру. Раненых беспрестанно при-

носили на носилках и вели под руки. От них ничего нельзя было добиться о ходе дела. Это тоже отличительная черта русского солдата. Когда наш солдатик ранен и не может более участвовать в бою, ему уже кажется, что все потеряно, что неприятеля несметное число — сила. Вскоре я получил приказание состоять в распоряжении одного генерала, участвовавшего в бою, и немедленно отправился к нему с казаком. Благополучно пробрался на место.

Сплошное облако порохового дыма стояло над сражавшимися. Позади с бастионов гудела самая частая канонада по неприятельским батареям, старавшимся, в свою очередь, не допускать наших резервов. Над нашими головами взад и вперед с ревом и гулом двигалась чугунная туча. Из беспрерывно пускаемых бомб с батарей обеих сторон образовалась над полем битвы какая-то огненная шапка. Красноватый, матовый, колеблющийся свет от выстрелов освещал битву. По разным направлениям двигались чернеющие квадраты; то были полки, свернувшие в ротные колонны. Небольшими точками чернелись рассыпавшиеся застрельщики. Под ногами постоянно попадались раненые и убитые. В темноте я наступил на одного раненого и, должно быть, на рану, потому что под моими ногами вдруг раздался страшно болезненный вопль, невольно заставивший меня споткнуться. Падая, я уперся рукой в землю и попал во что-то теплое, липкое; это была свежая лужа крови. О помощи раненому нечего было думать: я спешил к своему генералу, притом же раненых было множество; их не успевали даже прибирать. Вскоре я отыскал генерала и представился ему. В ту минуту он находился возле генерал-лейтенанта Хрулева, руководившего боем и со свойственным ему хладнокровием и распорядительностью отдававшего приказания и выслушивавшего адъютантов и ординарцев.

Нахлынувшая вдруг какая-то из наших колонн увлекла меня в своем стремлении. С трудом освободился я из этого стремительного потока и бросился к тому месту, где оставил генерала; но его уже не было там; тщетно проискал я еще несколько минут.

Дело между тем разгоралось сильней и сильней.

В оглушительном громе, среди криков, стонов и движения, я не знал, на что решиться, что предпринять и почти бессознательно бросился вперед, в самый разгул боя. Мимо меня беглым шагом с ружьем наперевес промелькнуло несколько колонн, стремившихся на помощь нашим. Офицеры с саблями наголо были впереди и ободряли солдат, которые крестились и тихо разговаривали между собой. Некоторые, пораженные пулями, падали и слышался их жалобный голос: „Прощайте, братцы!“ или „Отцы родные! Не покиньте!“

Не останавливаясь, бежал я вперед. Голова кружилась, я весь горел. Густой пороховой дым ничего не позволял уже разглядеть.

— Ишь валит! Совсем попятил подольцев! — проговорил кто-то запыхавшийся, пробегая мимо, и скрылся в дыму.

Я знал, что Подольский полк был послан отбивать те ложементы, где предполагалось вывести одну из главных батарей первой линии, против кладбища; знал всю важность этого проекта, а потому бросился на высоту, где дрался этот полк, надеясь принести какую-нибудь пользу в общем деле. Перепрыгивая через тела раненых и убитых, побежал я туда. Навстречу мне, отстреливаясь, отступала толпа наших солдат. Под горой я успел остановить их. Некоторые из этих солдат, видавшие меня на бастионе, признали теперь, и кто-то из толпы закричал:

— Ведите нас, ваше благородие: а то не знаем, что делать, все командиры побиты!

Я скомандовал: „В ротную колонну!“, кое-как устроил эту беспорядочную, сборную дружину; строго запретил стрелять при наступлении и, велев ударить „наступление“, бросился на гору.

Взойдя на гребень высоты, я увидел перед собой шагах в пятидесяти чернеющий бруствер нашего ложемента, увенчанный земляными мешками. Едва показалась моя колонна, весь гребень бруствера вспыхнул, как молния, и самый частый ружейный огонь засверкал нам навстречу, освещая красные шапочки с горизонтальными козырьками и козьи бородки французских егерей, засевших в ложементе.

Расстояние было так близко, что свиста пуль не было слышно. Я только видел, как вокруг меня повалились мои сподвижники. Минута была решительная; я невольно взглянул на небо, крикнув: „Вперед, братцы!“, и кинулся на ложемент.

Оглушительный, радостный крик: „ура!“ раздался в ответ на мое зазывное восклицание, и в мгновение я очутился в ложементе со своей временной командой.

Пальба здесь замолкла; вокруг меня застучали приклады, зазвенели штыки, послышались вопли, ожесточенные крики и крупная брань даже на гармоническом салонном французском языке. Попавши в самую середину свалки между неприятелей, я начал рубить наудачу перед собой шашкой, поднятой мной незадолго перед этим на поле здешней битвы; слышал удары клинка по чему-то металлическому; раза два брызнуло мне в лицо чем-то теплым.

Перед самыми моими глазами мелькали французские штуцерные кортики. Вдруг эта резня прекратилась, и живой ружейный огонь посыпался уже с нашей стороны. Ясно было, что французы отступили.

Через несколько минут прибыли свежие войска и сменили нас.

Я отправился на бастион отыскивать своего генерала. Было около трех часов утра и начинало рассветать. Неприятель всюду был отбит, и все линии новых траншей остались за нами, исключая нескольких ложементов у Карантинной бухты, в которых неприятель удержался и продолжал отстреливаться.

Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаяся, назад...

Взошло солнце... и осветило кровавую ниву... С любопытством взошел я на вышку 5-го бастиона и взглянул на поле только что прекратившегося сражения.

Смотря на отбитый мной ложемент, заваленный телами, я с замиранием сердца припомнил все ужасы боя, испытанные мной в эту ночь, все невыразимые, тяжелые мгновения,

перенесенные в продолжение ее, и невольно порадовался, что остался жив и здоров.

Легкая только контузия в правую руку пулей и три пробитые пулями отверстия в полах моей серой шинели служили мне видимым воспоминанием боя, в котором я в первый раз сошелся с вооруженным неприятелем, как говорится, лицом к лицу...

На следующую ночь в тот же самый час, как и накануне, упорствующий неприятель, не жалевший, видно, людей, опять густыми массами накинулся на наши траншеи, столь безуспешно атакованные им вчера. Занимавшие их два батальона Житомирского егерского полка по данному сигналу отошли к нашим укреплениям.

Наступающие же колонны неприятеля подверглись сосредоточенной перекрестной нашей пальбе и понесли при этом весьма большой урон.

Два ближайшие к кладбищу наши завала были разрушены неприятелем.

Соединительная же траншея с пяти бастионов осталась нейтральной.

В Севастополе опять настала обычная тишина.

Началась сильная жара; лень и нега так и напрашивались, так и обаяли северную натуру русского человека. Появились летние пальто-шинели из самых легких материй и белые фуражки, которые по особому приказу главнокомандующего велено было носить всем солдатам.

Быть расстегнутым и снимать галстуки также позволялось.

На бастионе солдатики наши не столько заботились укрыться от пуль и осколков, сколько от зноя, сильно их допекавшего.

Зной и пыль заменили грязь, но трудно было решить, что из них лучше.

На праздник Св. Троицы[82] в особенности было тихо по всей севастопольской линии, казалось, не слышно было даже ружейной перестрелки, обыкновенно неугомонной.

На второй день праздника, завернувши в библиотеку, я взошел на устроенную наверху нее обсерваторию; отсюда,

как с самой высшей точки в Севастополе, далеко можно было обозреть в зрительную трубу позицию неприятеля. Притом же морские трубы были превосходные. С час, по крайней мере, простоял я здесь, не отрывая глаз от трубы.

Я пожирал взором запретное для Севастополя пространство; там, за его стенами, раскидывались неприятельские траншеи и батареи, желтевшие и белевшие в настоящую минуту мирными линиями и валами.

С обсерватории библиотеки ясно было видно даже, как прохаживались часовые на валах осадных батарей, как сменялись траншейные караулы, передвигались партии неприятельских войск. Вот за батареями проехал какой-то всадник на серой лошади, в красном мундире, должно быть, англичанин. По огромной свите, проскакавшей за ним, можно судить, что это был один из главных начальников.

Мне досадно было, что эта кавалькада не видна ни с одного из наших бастионов; а то, рассуждал я, славно бы пустить в нее бомбочку.

Как артиллерист в душе, я вычислял уже для воображаемого выстрела и угол возвышения, и заряд, и время горения бомбовой трубки; живо воображая, замечтавшись и провожая взором скрывавшийся за возвышением хвост кавалькады, тот эффект, который произвела бы бомба, попавши в кучу ехавших, и то, как расскакались бы они по всем направлениям от нежданного гостя.

На каком-то холме, против 6-го бастиона*, отчетливо рисуются силуэты неприятелей, обозревающих наши укрепления; заметно даже каждое движение их рук. У ската вожатые держат лошадей. Херсонес, Карантинная бухта, маяк, все пространство перед 10-м и 5-м номерами не видно с бульвара, с этой точки совершенно открыто для взора.

Как я уже сказал, тихо было в Севастополе; но это была тишь перед бурей. 24 мая пришлось мне побывать на Камчатском люнете и редутах Селенгинском и Волынском. А потому и сделаю небольшой очерк сказанных укреплений перед рассказом о буре, разыгравшейся у них в этом месяце.

---

* Bastion de la Quarantaine. *(Примеч. авт.)*

Заложение Камчатского люнета, произведенное в то время, когда сильные неприятельские батареи занимали все главнейшие высоты, окружающие Корабельную сторону, поистине должно почитаться чудом инженерного искусства и доблести наших войск.

Сознавая всю важность этого укрепления, неприятель громил его беспрерывно.

Наружный вид Камчатского люнета — Камчатки — как его прозвали, был действительно грозен. Оба длинных боковых фаса, изрезанные глубокими, издалека черневшими амбразурами, постоянно сверкали молниями, посылая в ответ неприятелю свои меткие выстрелы. Амбразуры переднего фаса угрюмо молчали. Выглядывавшие в них дула орудий, казалось, ждали момента, когда появятся перед ними из ближайшей неприятельской траншеи штурмовые колонны, чтоб встретить их картечью. Постоянный туман порохового дыма, расстилавшийся над люнетом, высоко воронками взбрасываемая земля от бесчисленного множества лопающихся неприятельских бомб и гранат, синеватые дымки неугомонной перестрелки из ложементов, полукругом раскинувшихся впереди у подошвы холма, — все придавало этому укреплению грозно-боевой вид.

Внутренность Камчатки была пересечена высокими циклопической постройки траверсами, с трудом, однако, ослаблявшими перекрестный огонь осадных батарей. Картина непрерывавшейся деятельности внутри этого укрепления представлялась взорам во всякое время дня и ночи: переменяли подбитые лафеты, настилали платформы, таскали лес на блиндажи и погреба, носили землю на траверсы, на вал и на банкеты, чинили амбразуры и мерлоны; словом, здесь всюду обычно кипела та же деятельность, как на бастионах во время бомбардирования.

Сообщение люнета с Корабельной стороной было устроено в тылу его.

От заднего конца правого фаса шла глубокая траншея, опускавшаяся с холма в каменные ломки, которыми достигала лощины расстилавшейся впереди куртины, между бастионами Корнилова (Малаховым курганом) и № 2. По этой

лощине можно было достигнуть выхода в сказанной куртине, так называемой Рогатке.

Вправо и влево от люнета протягивались глубокие наши траншеи. Первая шла почти до докового оврага; вторая же — по направлению к Килен-балке. В этой последней была расположена наша 4-орудийная батарея для противодействия неприятельским траншейным батареям, направленным на люнет. Впереди укрепления в виде полукруга раскидывались наши ложементы, соединенные траншеей.

Кстати, скажу несколько слов и о ложементах.

Происхождение наших ложементов было почти случайное. По большей части они возникали без особых распоряжений начальства. Люди, высылаемые из укреплений для содержания ночной цепи, чтобы защитить себя хотя несколько от неприятельских пуль, складывали местами из камня тоненькие стенки в виде полукруга и укрывались за ними. Но пули часто пронизывали эти утлые защиты, а потому их обсыпали снаружи землей, выбирая изнутри ложемента.

В таком виде ложементы представляли уже более самостоятельности, не спасая, однако, от ядер и гранат.

Впоследствии у нас обратили на ложементы особенное внимание и придали им еще большую силу и значение. Войска стали занимать их потом не только днем, но и ночью. На ночь располагалась в них цепь, высылавшая вперед свои секреты*; а днем занимали их штуцерные, человек по 4—5 в каждом.

Но положение наших удальцов в ложементах в продолжение дня, надо признаться, было незавидное. Ложементы в некоторых местах были удалены от укреплений на значительное расстояние, саженей на 200, и сначала не имели никакого сообщения даже между собой. В летние дни с трех часов утра до одиннадцати вечера под жгучим южным солнцем, среди тысячи опасностей проводили почти целые сутки почтенные герои-труженики.

---

* См. сноску на с. 92.

Неприятель был крепко зол на эти стрелковые ямы, как он называл наши ложементы, и порой неумолкаемо громил их ядрами и гранатами, редко, впрочем, попадавшими по малой цели ложементов для артиллерийского огня.

В противном же случае, когда выстрел попадал в самый ложемент, то уже тогда разлеталась вдребезги вся эта непрочная защита и уцелевшим стрелкам приходилось перебегать в ближайший соседний ложемент под настоящим свинцовым дождем. Положение редутов Селенгинского и Волынского, окруженных, подобно Камчатскому люнету, постоянной огненной бурей, было тем более критическое, что, при слабом своем вооружении сравнительно с громившими его неприятельскими батареями, они были предоставлены почти одной собственной обороне.

Батареи Северной стороны и бастион № 2, хотя и могли действовать по черным редутам и вообще на Сапун-гору, но, по значительному расстоянию, нельзя было надеяться на успешное действие их артиллерии.

Еще в апреле неприятельские работы против наших редутов значительно усилились. Сильные батареи с трех сторон обложили их, но, приводя в порядок свое вооружение, не открывали еще огня. Сознавая слабость наших редутов сравнительно с окружающими их осадными батареями, можно было также сознать близкий конец упорной, геройской обороны этих передовых укреплений.

Наступила минута, когда храбрость должна была уступить силе.

В три часа пополудни 25 мая усиленная канонада загремела против Корабельной стороны. Самый сильный огонь неприятеля сосредоточен был против передовых наших укреплений. Сначала люнет и редуты отвечали смелой и частой пальбой, но через несколько часов выстрелы их стали реже и наконец к вечеру замолкли совершенно. Без преувеличения можно сказать, что тучи чугуна врывались в амбразуры, врезывались в мерлоны, срывая и засыпая их.

Подобное бомбардирование продолжалось всю ночь.

Никакие сверхъестественные усилия не могли в течение ночи исправить все сделанные и беспрестанно возобновляемые повреждения.

Утро 26 мая озарило лишь одни развалины передовых наших укреплений. Брустверов в обоих редутах и даже в Камчатском люнете почти не существовало. Это были просто понагроможденные в беспорядке кучи земли, туров, фашин[83], мешков с землей, досок, брусьев и всякой всячины. Платформы были разбиваемы бомбами, бросаемыми неприятелем с ожесточением; подбитая по большей части артиллерия сброшена с места и до половины засыпана землей. Гарнизон, не имевший, как говорится, свободной минуты, чтоб вздохнуть, кое-где лепился за уцелевшими остатками вала; о банкетах нечего и говорить!

Неприятель непрерывно продолжал бомбардирование этих развалин.

С полудня, однако, оно было поутихло, но часа через два возобновилось с новой силой.

Перед вечером, часов в шесть с половиной, начался штурм сказанных редутов и люнета.

Понятно, что сопротивление многочисленному врагу было невозможно; храбрость должна была уступить силе.

Три французские дивизии при двух батальонах стрелков, кроме резервов и охотников от всех полков Франции, бросились теперь на штурм.

Сам Пелисье находился в траншее ниже редута Виктории. Преследуя слабые остатки гарнизона наших передовых укреплений, неприятель захватил находившуюся в тылу редутов небольшую Забалканскую (Колокольцева) батарею и, увлеченный успехом, бросился через Килен-балку на Корабельную сторону.

Бастион № 1, возвышавшийся на крутизне над самим почти Килен-балкским мостом, почему и мог действовать по неприятельским колоннам за Килен-балку, не мог обстреливать картечью самого моста. Уже несколько зуавов перебежало мост; еще момент — и неприятель ворвался бы на 1-й бастион. Но в эту минуту из-за бастиона вылетела легкая № 5-го батарея 11-й бригады, спустилась с высоты и карте-

чью отбросила неприятеля с моста. В то же время с другой стороны, на рейде, явился пароход „Владимир“ и открыл губительный огонь по неприятелю. Подоспевшие наши батальоны бросились через мост, ударили в штыки на французов и заставили их отступить.

Забалканская батарея взята была нами с бою.

Генерал-лейтенант Хрулев, вследствие различных обстоятельств вновь назначенный начальником левой половины оборонительной линии, но получивший это назначение только за час с небольшим до нападения неприятеля на люнет и редуты, находился, однако, уже на Корабельной стороне и принимал начальствование.

Ординарец генерала, прапорщик Сикорский, только что успел прибыть на Корнилова бастион для занятия помещения генералу, который намеревался прибыть сюда вслед за ним, как неприятель повел уже штурм.

Генерал-майор Заливкин[84] принес большую пользу в это время своими энергическими распоряжениями. Несмотря на томившую его болезнь, с трудом позволявшую ему ходить, он при первой вести о штурме, чтоб не терять времени, поскакал на неоседланной лошади к резервам и направил их к оборонительной линии.

При первом известии о нападении неприятеля Хрулев поспешно прискакал на место действия и с подоспевшими резервами лично повел войска в штыки и отбил Камчатский люнет. Но вскоре вновь понахлынули целые толпы упорного неприятеля.

Уже смеркалось. Наши, видя необходимость уступить превосходным силам неприятеля, отодвинулись от люнета, два раза переходившего из рук в руки.

Адмирал Нахимов, верхом приехавший на Камчатский люнет за несколько минут до его штурма, не успел, обойдя укрепление, проехать до половины траншеи, соединяющей люнет с Корабельной стороной, как неприятель повел штурм. Услыхавши выстрелы, залпом раздававшиеся из небольшого числа уцелевших орудий люнета, адмирал вернулся на штурмуемое укрепление и в общей свалке едва не был взят в плен. По обыкновению, на нем были эполеты и орден

Св. Георгия 2-го класса. Матросы едва выручили своего отца-адмирала, бросившись на неприятеля с банниками и ганшпигами[85], которые уносили они с прочей принадлежностью от заклепанных орудий люнета.

Французы, в жару минутного своего успеха, зарвались было даже до самого Малахова кургана; но все подобные смельчаки уже не вернулись назад.

Англичане, которые должны были занять ложементы* у каменоломни впереди 3-го бастиона, соревнуясь с французами, безумно бросившимися на Малахов курган, кинулись на 3-й бастион** и потерпели такую же участь, как и французы.

Во все время настоящего штурма я оставался в городе, не имея никаких поручений, и смотрел на дело вместе с целой толпой зрителей с крыши Николаевской казармы.

Вид боя днем не так эффектен, как ночью.

Целые облака порохового дыма и поднявшейся земляной пыли от разрыва бомб, гранат и рикошетировавших ядер застилали Корабельную сторону. Было что-то грозно-величественное, когда наши пароходы развели пары и густой, черный дым длинной полосой стал над рейдом, когда некоторые из наших линейных кораблей залпами целым бортом загудели по неприятелю, так что потряслись даже огромные своды Николаевской казармы.

Ординарцы постоянно приезжали к начальнику гарнизона[86]; но от них трудно было чего-нибудь добиться о ходе дела. Вообще, если и получались какие-либо сведения о бое, то они были недостаточны, туманны и сбивчивы: первый признак неудачи с нашей стороны.

Наконец вот прискакал один ординарец с радостной вестью, что люнет взят нами обратно. Был восьмой час в исходе. Веселый говор зажужжал в толпе, и имя генерал-лейтенанта Хрулева перелетало из уст в уста.

Только на другой уже день дошли до нас достоверные вести об участи редутов и люнета. Храбрый генерал-майор

---

* L'ouvrage des carriers (фр.) *(Примеч. авт.)* — (Траншеи)

** Grand redan (фр.) *(Примеч. авт.)* — (Бастион)

Тимофеев командовал войсками по ту сторону Килен-балки, всеми уважаемый, всеми любимый генерал, подававший большие надежды и особенно отличившийся при большой нашей вылазке из Севастополя 24 октября 1854 года, смертельно был ранен в голову осколком бомбы и вскоре умер.

28-го, в полдень, началось перемирие для уборки тел и продолжалось до шести часов вечера. Сначала парламентерский флаг выставили союзники, а потом ответно появился он с нашей стороны на Малаховом кургане и 3-м бастионе.

Огромные толпы наших и неприятелей собрались на позорище битвы.

Со стороны неприятелей приезжали даже кавалькады каких-то амазонок и людей в статском платье.

На здешнем боевом месте подобные мирные фигуры казались чем-то необыкновенным.

Я также пришел сюда посмотреть на новое для меня зрелище.

Зеленеющее, испещренное красивыми южными полевыми цветками пространство земли между Малаховым курганом и холмом, на котором находился Камчатский люнет*, и далее по ту сторону Килен-балки, около редутов**, покрыто было телами, исковерканными, изможденными.

Особенное мое внимание привлек один молодой, чрезвычайно красивый собой француз офицер, убитый картечной пулей в голову. Порядочная дыра во лбу его, над правым глазом, как бы нарочно отчетливо высверленная, ясно указывала род смерти убитого. По какому-то случаю мундир и даже рубашка француза были расстегнуты. На груди его с различными амулетами висел медальон с изображением молодой, красивой женщины.

Может быть, то была его невеста!..

---

* Камчатский люнет вместо: „Mamelon Vert“ („Зеленый холм“) — переименован был французами по взятии его в Redonte Brancion *(Примеч. авт.)* — (Редут Брансьон. Брансьон — имя собственное [средневекового замка и поселения во Франции].)

** Селенгинский и Волынский редуты были также переименованы из ouvrages Blancs (Белых укреплений) в ouvrages Lavarande. *(Примеч. авт.)* — (Укрепления Лаваранд. Лаваранд — имя собственное.)

Я снял этот медальон и вручил его какому-то французскому генералу небольшого роста, толстенькому и живому. После я узнал, что это был Брюне (Brunet)[87].

Убитых неприятелей было множество: нелегко достался им люнет!

Со стороны нашей и союзников высланы были цепи, определившие нейтральное пространство.

Странно было видеть людей, за несколько времени до этого сражавшихся между собой насмерть, а теперь сходившихся и разговаривавших весело и непринужденно, как бывает между добрыми знакомыми.

В нескольких шагах от меня происходила следующая сцена.

— Что, брат-мусью, на сапоги-то мои смотришь? А? — спрашивает наш егерь одного зуава, с любопытством его осматривающего. Последний что-то отвечает по-своему. Ловя смысл ответной фразы со свойственной русскому солдату смышленостью и подхватывая в ней знакомое себе по звукоподражанию слово: „bottes“, наш егерь не лезет за словом в карман и тотчас же возражает французу, как бы понявши его совершенно:

— Ну, боты так боты; по-нашему же: сапоги. Поляк тоже говорит „боты“. А знаешь, камрад-мусью, для чего государь дал нам такие бун — крепкие сапоги? Чтоб крепче было становиться на ногу, когда маршируем; вот так: раз, два, три; раз, два, три... — поясняет он, маршируя.

Француз улыбается.

Возле них собралась уже порядочная кучка любопытных.

— А вот вам, — продолжает егерь, указывая на сандалии зуава, — пантуфли-то эти даны, чтобы лучше было того, наутек, лататы задавать, — говорит он, сопровождая сказанное выразительной мимикой, подбирая полы своей шинели и показывая вид, как бы убегает.

За выходкой этой последовал общий взрыв смеха как наших, так и неприятелей, понявших, как казалось, все оттенки разговора, точно речь шла на их родном языке.

Между прочим, никто и не приметил, как французский генерал с одним офицером подошли сюда и были свидетелями всей проделки молодца-егеря.

Когда последний кончил, генерал этот подошел к нему, спросил у него фамилию, записал к себе в бумажник и подарил рассказчику двадцатифранковую монету.

Я прошел далее. Подойдя поближе к небольшой группе, состоявшей из двух французских офицеров и одного нашего, я различил в нашем офицере штабс-капитана П*, большого весельчака.

Два французских офицера, с которыми он разговаривал, были юные поручики какого-то „regiment de ligne“*.

Я предчувствовал, что П* непременно выкинет какую-нибудь штуку. Французы сами напросились на нее.

Один из поручиков спросил П*, не знает ли он фамилии командира батареи на 5-м бастионе, из которой так особенно часто допекает их капральства „les bouquets“**, как выразился француз.

— Это я, к вашим услугам. Capitaine Thadet***, — ответил П*.

В сущности же он даже не числился на 5-м бастионе; притом же был не артиллерист.

Импровизированную же фамилию свою „Тадэ“ произвел он, вероятно, от своего имени: Фаддей.

При ответе П* со стороны французов посыпались любезности.

— Мы вообще заметили, — продолжал другой француз-поручик, — что вы более всего угощаете нас бомбами и bouquet’ами перед вечером.

— Ah! c’est que je vais gouter alors l’eau de vie: je dine à cette heure****.

Французы приняли это за чистую монету.

---

* Regiment de ligne (фр.) — линейный полк.

** Букв. букеты; здесь букеты картечи. (фр.)

*** Капитан Таде. (фр.)

**** А! Это значит, что я хочу тогда отведать напиток жизни: я в это время обедаю. (фр.)

И долго потом, когда упомянутая батарея 5-го бастиона (слыхом не слыхавшая ни о каком capitain'e Thadet) бросала порой, перед вечером, капральства, слышался из французских траншей против этого бастиона крик:

— Capitaine Thadet, va prendre de l'eau de vie, hourrraaa, capitaine Thadet!*

Но вот белые флаги скрылись, и опять по-прежнему завизжали ядра, засвистали бомбы, зажужжали пули... а с ними зарыскала смерть по Севастополю.

---

* Капитан Таде, принимай напиток жизни, ура, капитан Таде! (фр.)

ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ

Перемены в городе после 26 мая. — Неудавшаяся поездка. — Я отправляюсь на бастион на постоянное там пребывание. — Несколько слов об адмирале Нахимове. — Июньское бомбардирование. — День 5 июня. — Я отправляюсь на Малахов курган. — Беглый взгляд на укрепление Малахова кургана. — Штурм 6 июня

Со взятия люнета и редутов в городе, кроме Николаевской площади, почти не было безопасного места.

Куда залетали прежде разве только ракеты, появились теперь и бомбы, и ядра. Екатерининская улица видимо пустела, торопливо выселяясь или на Северную сторону, или в Николаевскую казарму. Но рынок, находившийся в начале Морской улицы, близ седьмого бастиона, кишел людом попрежнему, несмотря на частое посещение его различными артиллерийскими снарядами и даже пулями. Последние, впрочем, были еще случайные — шальные. Весь город становился на совершенно боевую ногу. Огненный ураган осады захватывал уже все его отдаленные, мирные дотоле уголки. Грустно, тоскливо становилось на душе при виде всеобщей гибели и разрушения; нельзя было выискать места, где бы свободно можно было дохнуть, забыться хотя кратковременно от всего окружающего. Рейд также начал обстреливаться сильнее: ядра стали ложиться у самого Михайловского укрепления.

Линия наших кораблей отодвинулась по направлению к бонам. На пристани Северной стороны стало окалечивать людей, как и на бастионах.

Один знакомый мне офицер был назначен к отправлению из Севастополя в Петербург с каким-то важным пору-

чением. Мать, сестры, брат ждали его там... Но смерть раньше всех подготовила ему встречу! И где же? Не на бастионе, на котором бывал он сотню раз, не в бою, в котором он вдавался в самый жаркий огонь, а на пристани Северной стороны, при последнем шаге от ужасов Севастополя; в виду почтовой тройки, которая через несколько минут должна была умчать его к почестям, мирной жизни и родному семейству... Едва успел мой несчастный знакомый выйти из перевозившего его катера и ступить несколько шагов по Северной стороне, как ядро выбрало его одного из целой толпы народа и оторвало ему обе ноги.

29 мая, как теперь помню, был особенно хороший день. На небе ни облачка, кроме разве дымных облаков от высоко рвавшихся бомб. Черное море, тихо плескавшееся у берегов страдальца Севастополя, стлалось мелкой рябью и с самой дали, пригретое южным солнцем, переливалось чисто голубым, кое-где позлащенным цветом. Свежий ветерок веял с моря, едва помахивая верхушками сильно благоухающих акаций и сирени. В самой природе все было далеко от ужасов и смерти... все чаровало, все казалось созданным на благо и негу для человека... В этот день приходилось мне ехать по поручению своего батарейного командира в наш бригадный штаб на Меккензиеву гору. Заранее отправил я на пароходе на Северную сторону свою верховую лошадь; сам же остался ожидать только присылки от батарейного командира необходимых бумаг, с которыми должен был ехать.

С истинно детским удовольствием помышлял я о приятности предстоявшего мне пути, в совершенной безопасности, на чистом свежем воздухе, среди бесконечной зелени, гор, цветов и леса. Мы давно уже отвыкли думать о завтрашнем дне; день, проведенный спокойно, казался вечностью; можно себе представить, как радовался я перспективе нескольких приятных часов впереди, как жаждал я сбросить хотя на время пыль и прах севастопольского ада.

Скоро, очень скоро, рушились мои мечты о поездке. С досадой внутренне сознался я, что лучше уже было бы не загадывать наперед, по крайней мере избавился бы от неприятности обманутого ожидания.

Вместо бумаг, с которыми приходилось мне ехать на Меккензиеву гору, получил я бумагу, определявшую мне отправляться на бастион, и притом на неопределенное время, быть может, до самого конца осады.

Неожиданность эта произошла вследствие внезапно полученного от главнокомандующего приказания: отправить на некоторые бастионы, для усиления их обороны, несколько легких полевых орудий.

Серьезному своему назначению я, впрочем, очень обрадовался. Давно уже хотелось мне находиться на бастионе постоянно. Между прочим, признаюсь, был здесь и маленький расчетец с моей стороны.

В городе во всякое время могло меня убить или ранить без всякой пользы; лучше же, думал я, если уже мне суждено быть убитому, пусть постигнет меня эта участь при исполнении долга в первой перед неприятелем линии, нежели на прогулке, во время сна или где и как-нибудь еще хуже того.

Подобное моему назначение получил в нашей батарее, кроме меня, еще один офицер. Одному из нас приходилось отправляться на Шварца редут; другому же — к каземату 5-го бастиона. В подобных случаях обыкновенно принято бросать жребий. Но я решительно отказался как от жребия, так и от собственного выбора, что весьма любезно предлагал мне товарищ мой. Взамен его любезности я так же предоставил ему право выбора...

— Когда так, отправляйтесь же на Шварца редут, — сказал он, — и пеняйте на самого себя, — шутливо отвечал он мне.

Шварца редут, действительно, признавал весь Севастополь за весьма опасное место, но я нимало не жалел о том, что отказался от выбора.

Вообще между военными людьми считается нехорошим делом напрашиваться куда бы то ни было: у нас в Севастополе этот взгляд разделяем был всеми. Были даже мистики своего рода, положительно утверждавшие, что судьба всегда жестоко наказывает напрашивающихся.

В обычный час передвижений войск в Севастополе — в сумерках прибыл я с четырьмя орудиями на место нового

своего назначения. Вверенный мне дивизион назначался для обстреливания Шварца редута на случай штурма. Траверс, на который должно было вскатывать мои орудия, находился у самой горжи[88] редута, на примыкавшей к нему батарее, крайней левофланговой 5-го бастиона, сообщавшейся с редутом посредством блиндированного хода.

Выполнивши все, что требовалось сделать тотчас же по приходе на бастион, отправился я в блиндаж к командиру батареи, лейтенанту А*, чтобы познакомиться с тем, в чьих владениях находился я с моей командой.

Не на одно дежурство собрался я теперь на бастион, а потому не мешало поустроиться немного, после чего обыкновенно становится как-то легче, даже в самых тяжелых случаях жизни. С переходом от обыкновенной жизни к бастионной человек невольно становится мрачнее. С подобным настроением, усилившимся во мне еще более по случаю неудавшейся загородной поездки, сходил я в блиндаж по крутой лесенке. Небольшое офицерское отделение полно было офицеров; там пили чай и веселым хором, довольно стройно, пели какую-то песню; с первого раза казалось, итальянскую. Прислушавшись, я уверился, что это происходило от сочетания в ней слов итальянских с русскими.

Песенка, о которой говорю, была в большом ходу на 5-м бастионе и пелась довольно часто; впрочем, по случайному впечатлению, произведенному ею в то время на меня, я запомнил ее сразу. Заговоривши о ней, даю место и ей самой.

Вот она:

Полно прясть, Chiara mia,
Брось свое веретено,
В Сан-Луиджи прозвонили
К Ave Maria давно.
У соседнего фонтана
Собрался веселый рой
Всех Transtewer'ских красавиц,
Лишь тебя нет, ангел мой.
Слышишь — строят инструменты,
Все так веселы, мой свет,

Звуки бубна, мандолины,
И бряцанье кастаньет.
Поскорей в наряд воскресный
Нарядись, моя краса!
Что, готова? — О, per Bacco,
Как ты дивно хороша!..

Нечего говорить о том, что и песня, и живая ее музыка произвели на меня сильное впечатление. Да и вообще говоря, что за диво было человеку, втянувшемуся в севастопольскую жизнь, изнуренному одними и теми же суровыми впечатлениями, поддаться обаянию и простенькой песенки, но рисовавшей светлые картины жизни безмятежной, полной тихих радостей и веселья, которые скорее представлялись чем-то фантастическим, нежели обыкновенной действительностью.

Я напился чаю по радушному угощению целой компании; говорю целой, потому что, по незатейливости бастионного хозяйства А*, угощать меня пришлось почти каждому: тот предложил мне свой стакан, допивши его, другой дал чайную ложечку, кто блюдечко, а кто без церемоний наложил мне в стакан сахару, ближе к нему бывшего, нежели ко мне; напившись чаю, вышел я из блиндажа на батарею. Напев песенки все звучал в моих ушах, хотя ее и перестали уже петь; так все и чудилось веселое гулянье, итальянская природа и транстеверянки с черными волосами. Оглядев свои орудия и прислугу, в которой одного человека я уже недосчитывался, остановился я у ближней амбразуры, прислонясь к орудийному станку. Ночь была темная, но тихая. Батарея наша молчала. Все ее орудия, наведенные как для штурма, таили в своих огромных жерлах тяжелую картечь; даже скорострельные трубки поставлены были в запалах. Зажженные фитили, воткнутые в землю, каждый у своего орудия, светились как заостренный и раскаленный уголь; прислуга и прикрытие бодрствовали на своих местах.

Было тихо. Лишь изредка залетала неприятельская бомба или ядро, да проносились пули, то жужжа или тихо гудя, то жалобно завывая, то вдруг звеня, как струна, или отрывисто пощелкивая, попадая во что-нибудь твердое. В глубине

батареи, длинной, тонувшей во мраке, вереницей тянулась смена прикрытия на Шварца редут. Беспрестанно выделялись оттуда темные фигуры, все яснее и яснее определявшиеся по мере приближения их к освещенному образу, на который, как на единственную светлую точку батареи, глаза мои устремлялись сами собой.

Теплящиеся у божницы восковые свечи бросали вокруг причудливый матовый свет, полуобрисовывая лишь на ночном фоне энергические, спокойные лица подходящих молиться солдат. Осеняя себя крестным знамением, каждый из них творил краткую молитву, иногда тихо, иногда во весь голос, а потом, задумчиво отодвинувшись назад, совершенно терялся во мраке.

Вероятно, я был свидетелем не одной последней молитвы, не одной исповеди. Многие из тех, кто появлялся теперь на светлом кругу, образованном слабыми лучами теплящихся у образа свечей, многие должны были исчезнуть за эту ночь с лица земли и пропасть для целого света, как пропадали они предо мной, отходя в темноту от светлого круга. Долго глядел я на мелькавшие предо мной закаленные серьезные лица защитников Севастополя; вдруг возле меня раздались такие слова:

— А ведь здесь неладно — кабы того... — затем говоривший выразительно крякнул.

Я оглянулся: близ меня, на поворотной платформе того же орудия, у которого я стоял, сидел матрос, раскуривая трубочку.

— А что такое? — спросил я его, оглядываясь.

— Да вон как садит пули-то; этта абразура, значит, нехорошее место.

И я действительно услышал частое пощелкивание в амбразуре и по занавесившему ее тросовому щиту*. Прежде я полагал, что там копошатся рабочие.

— А вот ты же сидишь, — заметил я матросу.

---

* Щиты эти сплетены были из корабельных веревок (троса). Занавешивая ими амбразуры, защищались от штуцерного огня, весьма губительного, в особенности в последний период осады. *(Примеч. авт.)*

— Мы ведь здешние... — возразил он, преспокойно продолжая себе кейфовать с трубочкой во рту.

В это самое время подошел ко мне А* и с первых слов также предупредил меня, что я стою не на хорошем месте. На этот раз я инстинктивно отодвинулся от амбразуры.

— Здесь у меня бомбическое, — добавил А*, — так француз и зарится подбить мне его, и ночью часто стреляет по нем, думая, что мы починяемся. Вчера вот, — продолжал он после некоторого молчания, — лучшего комендора моего прихлопнуло на самом том месте, где вы прежде стояли. Да, частенько похлопывает здесь, — прибавил он.

Лейтенант А* был среднего роста, прекрасно сложенный молодой и очень красивый собой брюнет. Впрочем, постоянная жизнь на бастионе, где он находился с самого начала осады, разрушительно на него действовала: А* похудел, пожелтел, словом — опустился. Немного походивши вместе по батарее, мы разошлись. А* пошел осматривать работы на своей батарее, я же — в блиндаж. Никого там не было. Несмотря на то, что А* сам, без моей просьбы, пригласил меня разделить с ним его помещение, я, лучше теперь осмотревши блиндаж, призадумался о возможности воспользоваться радушным его приглашением. Две кровати, между которыми стоял в головах небольшой столик, занимали все пространство. Над одной висела флотская полусабля с „Анной за храбрость“*; над другой пехотная с тем же украшением. Очевидно, с А* помещался еще кто-то, и вторая кровать не гуляла.

— Виктор Александрович! Виктор Александрович здесь? — прокричал кто-то сверху входа; и, не дожидаясь ответа, тяжело и шумно сбежал по лесенке. Это был мичман Д*, помощник А*, очень молодой человек, еще безусый, но полный, высокий и очень недурной собой. Я уже познакомился с ним при первом моем приходе в блиндаж.

— Знаете ли что, — обратился он ко мне, — не хотите ли поместиться со мною; я живу отдельно здесь, на этой же

* Орден Св. Анны 4-й степени. По правилам знак к этому ордену носили на холодном оружии. *(Примеч. ред.)*

батарее. Третьего дня убило кондуктора, который жил со мной, так вот, на его место и милости просим.

Я искренно поблагодарил его за приглашение, которому, признаться, очень обрадовался. Даже, грешный человек, не сильно пожалел об убитом. Сейчас же П* повел меня осмотреть общее наше жилище. Оно было вроде конуры и состояло из двух отделений, тесных и низких до того, что ходить в них надо было принагнувшись. В первом, у внутренней стены, на лавке, постлана была постель П*; насупротив ее стоял столик; во втором же, кроме необходимого места для прохода, все пространство занимали две лавки, приложенные у смежных стен. Одна из этих лавок и назначалась в мое владение. Другая же принадлежала кондуктору, заведовавшему письменной частью батареи. Это второе отделение, несмотря на чрезвычайно малый размер его, поддерживалось внутри двумя столбиками, подпиравшими дощатый потолок, удерживавший насыпь траверза. Сквозные окошечки, прорезанные в наружной стенке каждого отделения, служили для пропуска света и воздуха.

Немедля велел я застлать свою лавку принесенными с квартиры принадлежностями моей постели и с удовольствием улегся на ней, размышляя о треволнениях кончающегося дня. П* куда-то ушел; моего сожителя, кондуктора севастопольской инженерной команды, также не было. Уже дремота начала одолевать меня. Вдруг я невольно соскочил и инстинктивно начал расстегиваться. Казалось, тысячи булавок прогуливались по мне. В первую минуту я не мог даже хорошенько сообразить весьма простой тому причины. Судорожно зажегши свечу, отдернул я свое одеяло, и моя догадка оправдалась совершенно: предо мной запрыгала, заскакала целая орда так называемых черкесов[89].

— Виктор Александрович приказали просить вас к ним на ужин-с, — басом проговорил кто-то возле, почти испугавши меня.

Я оглянулся, все держа еще в руках свечу, и увидел старую, обросшую густыми бакенбардами, физиономию какого-то матроса.

— Кто такой Виктор Александрович? — с досадой спросил я его.

— Командир нашей батареи — лейтенант А*, — опять пробасил тот же лес волос, казавшийся теперь немного удивленным.

— Хорошо, сейчас буду, — ответил я и, переодевшись, отправился в блиндаж к А*.

Скажу кстати, что матросы не величали своих офицеров: „его благородием", а просто звали по имени и отчеству.

Вся ужинающая компания была в сборе, ждали только меня. О постигшем меня на новоселье сюрпризе умолчать я не смог и поведал перед всеми свое горе, вызвавшее единодушный веселый смех.

— Вы, вероятно, забыли посыпать вашу простыню персидской ромашкой, — заметил мне, наконец, А*.

Действительно, мне, которому доводилось во время дежурств своих на бастионе ночевать постоянно на чужих, устроенных уже постелях, не пришло в голову остеречься от внутреннего врага бастионов, допекавшего здесь хуже пуль. В пользу мою тотчас же была сделана складчина, и меня вдоволь снабдили спасительным персидским снадобьем. До самого рассвета никто не ложился спать. Мы с П* сыграли, между прочим, в шахматы. А* составил партию в преферанс. Уже в четвертом часу утра разбрелись мы на покой. Не раздеваясь, как и все, по общепринятому обыкновению на бастионах, заснул я уже спокойно на своем ложе и проснулся на другой день лишь в десять часов утра. Мне кажется, я проспал бы еще более, если б не разбудил меня один из моих взводных фейерверкеров, докладывавший о только что подбитом орудии неприятельской бомбой; двое моих солдат были ранены.

Под вечер посетил нашу батарею адмирал Нахимов, часто обходивший бастионы. Всегда твердый, спокойный, как ангел-утешитель, являлся он морякам, готовым в огонь и в воду по одному мановению своего отца-адмирала. Влияние Нахимова на матросов было неограниченное. В него веровали они, и мощный рычаг для них был — слово Нахимова. Во время мартовского бомбардирования в один день неприятель

особенно сильно стал громить 4-й бастион: всего разворотил, как поразительно верно выражались моряки.

Донесли Нахимову, что нет сил исправить повреждения. Он тотчас приехал туда сам.

— Что это за срам-с! — с гневом обратился он к матросам. — Шесть месяцев-с учат вас под огнем строиться и исправляться. Пора бы-с присноровиться, сметку иметь.

— Рады стараться!.. Будет сделано! — дружно вскричали матросы, у которых все закипело. И действительно, они исполнили почти невозможное.

Не забуду также следующего случая, которому я сам был свидетель.

26 мая, в то время как неприятель бросился на штурм редутов и Камчатского люнета, одна матроска, стоя у дверей своего домика, навзрыд плакала,

— Чего, баба, разревелась? — спросил ее проходивший матрос.

— О-о-ох! Сердешный ты мой, как не плакать-то головушке моей бедной, сынок-то мой на Камчатском! А вишь ты... што там за страсти!..

— Ээ... баба! Да ведь и Нахимов там.

— И вправду! Ну, слава ж те, Господи! — проговорила матроска, будто оживившись и крестясь весело.

На вид Павел Степанович был угрюм и серьезен, особливо во время осады Севастополя. Речь его была отрывиста, но вместе с тем ясна и определительна. Иногда одного меткого слова его достаточно было для уразумения самого сложного обстоятельства. Одет он был теперь, по обыкновению, в сюртук с эполетами и „Георгием“. Адмирал был выше среднего роста, но держался немного сутуловато.

Сложенный плотно, лицом румяный, он казался совершенно здоровым, в сущности же Павел Степанович страдал как от давнишнего своего недуга, так и контузии*, полученной им в Севастополе, о которой он не хотел и думать и только раз как-то проговорился.

---

* 26 мая, во время штурма редутов и Камчатского люнета Нахимов был контужен осколком бомбы в спину. *(Примеч. авт.)*

Все матросы радостно высыпали на встречу своего любимого адмирала. В то время, когда адмирал проходил по нашей батарее, неприятельское ядро подбило одно орудие: двадцатичетырехфунтовую пушку-карронаду, стоявшую на кремальере[90]; Нахимов тотчас же подошел к ней и приказал снять занавесивший амбразуру щит. Один из матросов, работавших около подбитого орудия, тотчас же полез исполнять приказание, но снял наперед фуражку перед адмиралом.

— Я ему дело говорю делать, а он-с фуражку ломает, — с досадой сказал Нахимов. — А все-таки молодец, — прибавил адмирал, видя, что матрос, несмотря на посыпавшиеся на него пули, стал снимать щит со стороны неприятеля. Со вниманием осмотревши направление амбразуры и позицию неприятеля, адмирал пошел далее, сказавши ласково матросу: „Когда дело велят делать, пустяками заниматься нечего-с“.

С 3-го дня неприятель открыл канонаду по левой половине нашей оборонительной линии; у нас же на правой половине все было спокойно. Даже обычная перестрелка шла очень вяло. Вот уже 4 и 5 июня, огонь на левой половине все не прекращается, а у нас все тишина. Начиная с первого дня, все дни стояла сильная жара; в особенности 5-го. Солдаты и матросы лениво дремали, прикорнувши где кто мог, под тенью. Только и раздавался на батарее голос сигнального, изредка лениво прокрикивавшего: пу-у-шка, а еще ленивее: ма-а-рке-ла. Казалось, сама смерть заленилась; и на нашей батарее пока не было ни одного убитого.

Пробило три часа пополудни. Я читал один из наших журналов, сидя у входа в свой блиндажик, на картечи для бомбового орудия. П* также сидел возле, и то тянул лимонад через соломинку с наслаждением, то напевал любимую свою: „La donna e mobile...“ Комендор, родом из татар, по прозванию Шамай, сообщал мичману свои похождения в городе, где он отбывал какой-то из своих магометанских праздников и откуда только что вернулся. По площадке батареи важно прохаживался рьяный петух, изредка гонявшийся за двумя-тремя курицами, принадлежавшими, как и он, к хозяйству офицеров. На доске у большого блиндажа грелся на солнце кот, жмуря глазами. Мухи смертельно

надоедали, зарясь и на нас всех, и на петуха с его гаремом, и на самого кота, который, склонясь, щелкал иногда зубами, как собака, желая поймать особенно докучавшую ему муху. Зной нагонял такую тоскливую лень, что, казалось, и выстрел лениво звучал, и бомба просвистывала лениво; лениво стреляли штуцера; летали лениво пули.

Вдруг от неприятеля из лощины ударили три раза картечью по нашей батарее, и, как по сигналу, началась страшная канонада. Декорации переменились! Вмиг все было у нас по местам. Бомбовое орудие, находившееся близ нашего блиндажика, рявкнуло первым, за ним прогрохотали прочие орудия; далее подхватила следующая батарея, принял весь 5-й бастион, за ним следующий, далее-далее и весь Севастополь задымился, загудел, затрясся. Первые минуты бомбардирования всегда бывали особенно гибельны.

Комендор Шамай, за минуту перед тем весело балагуривший с мичманом, был убит в шаге от меня первым же неприятельским ядром, влетевшим на батарею; оно вырвало ему грудь. Еще одно ядро, ворвавшееся в ближайшую амбразуру, наповал убило двух солдатиков.

В это самое время кто-то судорожно схватил меня за руку, я оглянулся, предо мной стоял товарищ мой, назначивший себе стоянку у каземата 6-го бастиона. Он был чрезвычайно бледен, но спокоен. Я полагал уже, что он сильно ранен, не объясняя себе бледность его ничем иным, потому что он действительно был храбрейший человек. В этих мыслях хотел я уже спросить его, куда он ранен, но он предупредил меня, первый начавши говорить. „Я пришел проститься с вами, — сказал он мне, особенно странно произнося слово „проститься“, — я отправляюсь со своими орудиями на Малахов курган... Прощайте же, однако, меня ждут... пора...“, — торопливо сказал он и, поцеловавшись со мной, что также было довольно необыкновенно с его стороны, скорыми, но твердыми шагами пошел он от меня и скоро скрылся в свирепствовавшем вокруг хаосе огня, дыма и пыли.

Выбравши себе удобное и по возможности прикрытое место, я стал наблюдать за полетом снарядов и по просьбе лейтенанта присматривать за порядком. В прицеливание я не

вмешивался, потому что комендоры сами отлично наводили свои орудия, зная их в совершенстве. Более обращал я внимание на пальбу разрывными снарядами, как требующую тщательного заряжания, и которая, конечно, не могла быть хорошо знакома морякам во всех ее тонкостях. Без труда различил я, что бомбовые орудия батареи действовали удивительно. Они стреляли редко, но зато каждый их выстрел попадал в цель и сильно вредил неприятелю. Выстрелами из них на моих глазах совершенно были разрушены одна за одной четыре неприятельские амбразуры, которые тотчас же и были заложены французами. Отличительная черта настоящего июньского бомбардирования состояла в сильном вертикальном огне при слабой только поддержке прицельного — слабой сравнительно с прочими бомбардированиями.

К вечеру подплыл к Александровской батарее английский пароход-фрегат, стрелявший залпами по рейду и городу, с целью, вероятно, поражать наши резервы. По ракете с этого парохода-фрегата большинство неприятельских батарей давало по городу мортирный залп в совокупности с залпом целым бортом фрегата. Ракеты боевые и с зажигательным составом целую ночь беспрестанно были бросаемы в город в огромном количестве. Бомбардированию стоило зваться адским, но, решусь сказать, со стороны неприятеля оно было ошибочно в том смысле, что, как вспомогательное средство для штурма, оно не могло ему принести выгодных результатов.

С октябрьского бомбардирования по мартовское неприятель удостоверился, что вредить Севастопольскому гарнизону безнаказанно можно вертикальным огнем по небольшому числу мортир в Севастополе. Усилившись мортирами в мартовское бомбардирование, неприятель имел ощутительный перевес над нами: мы теряли несоразмерно много людей. С этого времени стало заметно у союзников решительное преобладание навесного огня над прицельным. Вероятно, неприятель хотел поколебать этим стойкость гарнизона.

Поощряемый сведениями о нашей потере людьми, неприятель еще больше увеличил количество мортир к насто-

ящему июньскому бомбардированию, и оно главным образом состояло из вертикального огня. Но если цель бомбардирования должна была заключаться не в одном истреблении нескольких тысяч народа*, но в скором обезоружении верков, в приведении их в негодность к решительной минуте штурма, то она далеко не выполнила своего назначения. В предштурмной бомбардировке, притом кратковременной, какова была настоящая, перевес вертикального огня был совершенно неуместен. Для поражения брустверов необходимы длинные орудия; действуя из них, можно только рассчитывать сбить орудия, разрушить амбразуры, засыпать ров. Тогда навесный огонь удваивает свою пользу: поражая войска, он мешает починять верки.

3 и 4 июня полки наши таяли под страшным мортирным огнем неприятеля, но укрепления повреждались мало или, по крайней мере настолько, что была возможность исправить их за ночь.

5-го прицельный огонь чрезвычайно усилился в связи с навесным, так что многие бастионы были сильно повреждены; но это положение продолжалось лишь до вечера. Со времени же открытия огня с неприятельского парохода-фрегата, подошедшего к Александровской батарее на пушечный выстрел, союзные батареи сосредоточили свой огонь большей частью по городу. Целые тучи бомб, ракет, каленых ядер преимущественно перелетали через бастионы, падали в Корабельную слободку, морской госпиталь, Екатерининскую улицу, Театральную и Николаевскую площади. Словом, неприятель не напряг всех своих усилий против самих бастионов, а, увлекшись мыслью поражать наши резервы, дал нам возможность исправить наши повреждения в ночь на 6 июня.

Весьма также полезно было для нас предусмотрительное распоряжение начальника артиллерии Севастополя, полковника Шейдемана, приказавшего, видя ошибочное

---

* Тем более что цифра Севастопольского гарнизона, при небольшом колебании, постоянно была одинакова по случаю возможности безостановочного пополнения убылых. *(Примеч. авт.)*

направление бомбардирования, отвечать на огонь неприятеля по возможности редко, отодвигая орудие к мерлонам. Через это неприятель также вдался в ошибку, полагая, что наши орудия подбиты им и мы оттого слабо ему отвечаем*.

Перед началом штурма неприятель прекратил канонаду по левой половине совершенно. Это была огромная ошибка, тем более важная, что расстояние от неприятельских траншей до рва наших бастионов всюду было не менее 100 сажен. Вместо того чтоб штурмовать под впечатлением усиленной канонады, но давши своим орудиям больший угол возвышения, так что снаряды его стали бы падать в город далеко за батонами, неприятель мгновенно прекратил огонь. Маневр этот не мог провести севастопольцев. Притом же за час до штурма находившийся в секрете перед бастионом № 1 генерал-адъютанта князя Горчакова полка подпоручик Хрущев дал знать, что весьма значительные части неприятельских сил сосредоточены в Килен-балочном овраге.

Вследствие этого войска наши, занимавшие бастионы, приготовлены были к занятию предварительно определенных им мест. Все говорило, что неприятель готовится на штурм; к каждому утру мы всегда готовы были к штурму и ждали его с нетерпением.

В ночи бомбардирование на самых бастионах, как я замечал, уже немного поутихло — по крайней мере ослабился прицельный огонь. Усталый, избитый каменьями, разлетавшимися во все стороны при каждом почти ударе ядра, я немного задремал, сидя в блиндаже у А*. Наш же с П* блиндажик совершенно разрушила лахматка, разрешившаяся притом, как после оказалось, на моей постели и еще на подушке. Только что я начал немного забываться, как кто-то стал будить меня; я тотчас вскочил. Предо мной стоял один из фейерверкеров моего дивизиона и передал мне только что полученное приказание от нашего батарейного командира отправляться мне на Малахов курган.

---

* Bazancourt: L’expedition de Crimée. (фр.) — Базанкур: Крымская экспедиция. *(Примеч. авт.)* — (Базанкур — имя собственное населенного пункта во Франции.)

— Да ведь там ***, — возразил было я, вспомня о товарище, который приходил ко мне в начале бомбардирования попрощаться.

— Их благородие изволили-с Богу душу отдать, — прервал меня фейерверкер. — В левой бок ядром хватило-с, ажно сабля-с невесть где делась, — заключил он, крякнув, и, повернувшись налево кругом, вышел наверх.

Довольно счастливо, без особенной потери, пробрался я на Малахов курган на указанную батарею и, явившись к начальнику отделения, капитану 1-го ранга Керну[91], тотчас же разместил свои орудия на заранее приготовленных барбетах.

Корниловский бастион имел почти овальное очертание. Большим своим диаметром подавался он к Корабельной стороне и к неприятелю. Укрепление это было сомкнутое и окруженное со всех сторон рвом и бруствером долговременных профилей (по крайней мере очень больших). Внутренность бастиона изрезана была траверсами для защиты от продольных выстрелов неприятеля, облегающего бастион почти полукружием. Большая часть из этих траверсов служила также и блиндажами для матросов и прикрытия; между ними оставались довольно узкие проходы. От гласисной батареи* до развалин башни было открытое пространство, так называемая чертова площадка. Местность позади бастиона, к городу, спускалась еще круче, нежели к стороне неприятеля. Корниловский бастион был тем замечателен, что, кроме командования городом, командовал еще над всеми верками Корабельной стороны.

Вот уже третий час утра в начале! Неприятель стал бить залпами. Молва о штурме неясно стала носиться по бастиону. Распоряжения начальства быстро следовали одно за другим. Орудия заряжены были картечью и наведены. Прикрытие зорко сторожило за неприятелем на банкетах. „Хозяин“ Малахова кургана, капитан 1-го ранга Керн, наблюдал за

---

* Двухъярусная башня, построенная на Малаховом кургане, имела круглый гласис, почему передняя часть Корниловского бастиона, построенная на этом месте, получила полукруглое очертание и сохранила название: батарея гласиса. *(Примеч. авт.)*

каждым уголком своего грозного хозяйства и просто не сходил с банкета. Его энергические распоряжения в особенности оказались действительными для исправления повреждений на кургане, причиненных за ночь. При работах в одной амбразуре переменились три смены рабочих, но все же амбразура была исправлена. Керн сам присутствовал при этой работе. Я нарочно вслушивался в разговоры солдат, чтоб узнать их мысли насчет ожидаемого штурма — они с охотой ждали его, и общее их мнение было такое: „коли идти ему на штурму, так уже пускай идет поскорей"; причем энергически поругивали его за трусоватую медленность. Что до меня, то какая-то неестественно судорожная радость овладевала мной. Я был как бы в ожидании какого-то празднества и находился в крайне напряженном состоянии — под впечатлением грозного величия ожидаемой страшной, кровавой развязки, к которой с обеих сторон готовились столько времени! О смерти же и в мыслях не было! Лишь от внутреннего, невольного волнения вдруг порой, как электрический ток, пробегала по всему составу моему нервическая дрожь.

Рассвет уже брезжил; третий час был в исходе. В Севастополе благовестили к заутрене. Вдруг сверкнула заря! И огненный сноп бомб поднялся из бывшего Камчатского люнета. В тот же миг заиграл рожок у неприятеля и принятый сигнал мгновенно пронесся по всем неприятельским траншеям вокруг нашей линии. Не успел еще отзвучать последний резкий тон его, как уже начался штурм!..

Рев орудий и заливавшаяся трескотня ружейной пальбы слились в один непрерывный, ужасающий вой-гул. Прикрытие, стоявшее по банкетам в три шеренги, вскочило на бруствер, мгновенно выросши на нем грозной, оплотной стеной, и без крика „ура", в мертвом молчании, открыло убийственный огонь. Это движение было так обще, так единодушно, что и я также вскочил на бруствер с банкета, на котором стоял в то время. „Картечь!" — невольно скомандовал я в тот же миг своим орудиям, быстро соскакивая к ним. На всем протяжении неприятельских траншей перед Малаховым курганом быстро двигалась густая, черневшаяся лавина штурмующего неприятеля. Офицеры с саблями наголо

бежали впереди. Впечатление было поразительное; казалось, сама земля породила все эти бурные полчища, в одно мгновение густо усеявшие совершенно пустынное до того времени пространство. Мне помнится, что многие поэты сравнивают разные сражения с напором волн, разбивающихся об утесы; сравнение совершенно подходит к настоящему случаю. Громада неприятелей дрогнула, взволновалась на одном месте, будто закипала на несколько мгновений, и вдруг отхлынула назад, причем огонь наш, в особенности ружейный, увеличился до невероятной степени. Смешавшийся неприятель отступил в Доковую балку и в свои траншеи, где, устроясь вновь, два раза пытался подойти ко рву бастиона, но два раза происходила с ним та же остановка, то же колебание на месте и потом быстрое отступление. Приведенный в совершенное расстройство, он бежал в свои траншеи. Некоторые из неприятелей зарвались, конечно, в своем стремлении до самого рва бастиона, но подобные смельчаки были или перебиты, или забраны в плен.

В то самое время, когда неприятель дрогнул, капитан 1-го ранга Керн случился вблизи меня с какими-то двумя офицерами и генералом.

— Теперь, ваше превосходительство, я совершенно спокоен, — сказал он, обращаясь к генералу, — неприятель ничего уже не сделает нам, хотя бы он бросался еще несколько раз, что, вероятно, и исполнит. А мы, — продолжал он, — напьемся чаю в антрактах. Эй! Вели ставить самовар! — приказал он одному из своих ординарцев,

И действительно, к третьей неприятельской атаке я увидел Керна на банкете со стаканом горячего чая: капитан преспокойно попивал его, куря сигару и ободряя порой солдат.

Не буду описывать в подробности все виденное и перечувствованное мной в этот страшный день, 6 июня. Во-первых, впечатления мои как-то смутны, вероятно, потому, что новость и поражающая грандиозность зрелища поглотили меня всего и, при всей жажде боя, при всем желании наблюдать, сделали меня неспособным к правильному наблюдению. Сверх того, надо было глядеть за своими орудиями, за своей прислугой — мысль о тяжкой ответственности отбивала охоту глядеть по сторонам. Помню только гул и

треск повсюду, волны неприятеля, несколько раз подбегавшие почти ко рву укрепления, пыль и дым направо и налево, тревожные, на лету схваченные и неизвестно кем переданные слухи о том, что французы прорвались за батарею Жерве[92], что генерал Хрулев выбивает их оттуда, что неприятельские колонны залегли во рву 2-го бастиона... Всего переслушать было некогда, некогда даже было глядеть по направлению к другим бастионам. Мне кажется, что подобной напряженной работы, подобных нервных колебаний человеку не под силу долго выдерживать. К счастью, кризис длился недолго.

В шесть часов утра приступ был отражен на всех пунктах; около полудня огонь осаждающего стих на всей линии. Мы отдохнули. Радостное чувство овладело всеми, последний солдат, из числа только что прибывших в Севастополь, понимал, что всем нам довелось совершить что-то необыкновенное. На курган прибыло много лиц с соседних укреплений; расспросы, рассказы, анекдоты, замечания о штурме слышны были повсюду. Кто рассказывал о том, как Хрулев молодецки кричал роте Севского полка: „Благодетели, за мною!“ Кто описывал во всей кровавой подробности рукопашный бой в домиках и развалинах за батареей Жерве, кто сообщал историю о том, как несколько пьяных французов, убежденных в том, что Севастополь уже взят, были схвачены нашими матросами в одном из этих домиков. Больше я ничего не слыхал, потому что от изнеможения заснул, сам не помню где и как. Помнится, что я заснул превосходно, перед усыплением у меня мелькала в голове мысль: „Все кончено, осада будет снята, и мы отдохнем на славу“.

На другой день, в шесть часов вечера, было перемирие для уборки тел. Неприятель убирал своих убитых до позднего вечера, но все же не мог убрать всех тел и просил нас, чтобы те тела, которые остались вблизи наших укреплений, были погребены нами.

Итак, давно жданный штурм Севастополя совершился, покрывши достойной славой его защитников. Как молния, понеслась радостная весть о том к государю! По целому свету, на земле и под водой, оживились, заговорили о ней все телеграфы, разнося грозную, заслуженную славу Севастополя.

ТЕТРАДЬ СЕДЬМАЯ

Движение неприятеля после 6 июня. — Генерал Тотлебен ранен. — Я возвращаюсь на прежний свой пост у Шварца редута. — Жизнь на бастионе. — Приезд в Севастополь высокопреосвященного Иннокентия. — Смерть Нахимова. — Энергическое движение неприятельских осадных работ и наше противодействие оным. — 4 августа. — Новое бомбардирование. — Открытие моста через бухту. — Я возвращаюсь с бастиона к своей батарее. — Перемены в городе. — Волонтер: отставной майор Л*. — Два дня на Северной стороне. — Последнее трехдневное бомбардирование с 24 по 27 августа. — Ополченцы. — 26 августа. — Неприятельские метательные мины. — Краткий обзор штурма 27 августа. — Наши войска оставляют Южную сторону Севастополя

После знаменитого дня 6 июня неприятель, постепенно ослабляя свою канонаду, замолк почти совершенно. В Севастополе опять настала тишина вплоть по 25 июня. Снова осаждающий и осажденный деятельно принялись за работы по устройству укреплений и возведению новых батарей.

Шестое июня вполне убедило союзников, что, рассчитывая на успешный штурм наших верков, необходимо близко пододвинуться к ним. И, надо отдать справедливость, союзники выполняли это трудное движение с решимостью, большим упорством и блистательной храбростью.

Французы начали подвигаться от своих прежних работ впереди Камчатского люнета и спускаться к лощине, проходящей между ним и Малаховым курганом.

Англичане подавались вперед, направляя свои работы на засеки впереди 3-го бастиона и распространяя их вправо и влево.

Спустя два дня после штурма, к общему сожалению, был ранен генерал-майор Тотлебен штуцерной пулей навылет в мякоть правой ноги, четвертью ниже колена.

Профессор Гюббенет[93], пользовавший Тотлебена, предложил ему скорее выехать из города. Но генерал решительно отказался. Тогда приехал к нему сам главнокомандующий и только после усиленных настояний заставил его выехать в хутор г. Саранданаки, на реке Бельбеке.

После штурма, в тот же самый день, к вечеру я возвратился на прежний свой пост у Шварца редута. Лейтенанта А* нашел я, к моему удовольствию, целым и почти невредимым; почти, потому что он был легко контужен в руку, обстоятельство, на которое в Севастополе не обращалось внимания. Даже раненые, и подчас сильно, оставались на бастионе. Ничего, присохнет, говаривали в особенности матросы. А вот, прибавляли они, ежели, оборони Бог, руку али, там, ногу отхватит, ну, тогда шабаш! Лечи, дохтур. Много раз случалось мне слышать это „Лечи, дохтур!“, прислушиваясь к солдатским беседам.

Итак, А* задело немного. Зато П* был весел и здоров.

Батарея также приняла свой обычный вид, лишь прислуга орудийная да прикрытие попеременилось; некоторых людей, нескольких жизней не стало; а впрочем, казалось, словно бомбардирования не было вовсе.

И зажили мы все по-прежнему, потекла жизнь на бастионе обычной чередой.

Ночи до самого рассвета проводились по обыкновению в осмотрительной бдительности. Орудийная прислуга находилась непременно вблизи своих орудий, наведенных по гласису и заряженных перед вечером картечью, прикрытие не сходило с банкетов. Цепь и секреты охраняли укрепление снаружи, зорко высматривая врага.

Отдыхали уже утром. Матросы, оставя дежурных у орудий, отправлялись заснуть частью в блиндаж, частью в разные поделанные ими норки и конуры на батарее. Прикрытие сходило с банкетов, кроме некоторого числа штуцерников. Одна половина прикрытия мостилась отдыхать на батарее же, не снимая про всякий случай амуницию, другая уходила

на вторую линию, в ближайшие блиндажи. Для прикрытия нашей батареи подобные блиндажи были на Чесменском редуте.

Мои артиллеристы также ухитрились устроить себе что-то вроде блиндажа, в котором лишь можно было сидеть — и то касаясь потолка головой.

Когда было тихо, не ожидалось ничего особенного, приходилось просыпаться за полдень, по-аристократически. Напившись чая, я отправлялся на прогулку для моциона; в тихое время — по бастиону, в противном же случае — по рву бастиона.

Подчас затевалась у нас „охота“ на французов*, которые большей частью напрашивались на нее сами. Нередко вдруг выскакивал кто-нибудь в неприятельской траншее, снимал свою шапочку, раскланивался и, высунувшись до половины, выстреливал из штуцера и быстро исчезал. Вслед за тем раздавался штуцерный залп из траншеи.

— Выскочил, выскочил! — вскрикивали все при появлении француза.

Тот, кто имел под рукой штуцер, стрелял, правду сказать, редко с успехом.

На подобную любезность неприятеля, в особенности когда выскакивал неприятельский офицер, всходил на банкет кто-нибудь из нас, офицеров, брал штуцер и следовал примеру француза. Мало-помалу присоединялись к стрелявшему еще несколько человек офицеров „отправлять французов в Балаклаву“, как говаривали у нас на бастионе.

Иногда, если не предвиделось ничего особенно угрожающего со стороны неприятеля, хаживал я в город навестить товарищей. Это путешествие, „con amore“**, в своем роде было оригинально: версты с две приходилось идти под огнем неприятеля. Но привычка — вторая натура, и мы, бастионные жители, до того стали равнодушны ко всем страхам и ужасам, так свыклись с подобными прогулками в город, что собирались на них без малейшего душевного волнения, по-

---

* Против 5-го бастиона были французские траншеи. *(Примеч. авт.)*

** “con amore” (ит.) — с любовью.

рой для того только, чтобы съесть получше изготовленную котлетку или выпить в кондитерской чашку кофе или шоколаду. Последнее можно было бы приготовить даже и дома, то есть на бастионе, но почему-то именно хотелось выпить это в кондитерской, как будто было это там вкуснее, и для того стоило прогуливаться две версты под пулями и ядрами.

При встрече на пути с окровавленными носилками не испытывалось уже, как бывало, какое-то невольно неприятное, неловкое чувство, похожее весьма на страх. Теперь равнодушным взором смотрелось на подобное зрелище; порой даже и вовсе не обращалось на это внимания; как на что-то неизбежное, как на свист пуль.

Отправляясь в город с бастиона, сначала, помню, избирал я безопаснейший путь: по стенке, через 5-й, 6-й и 7-й бастионы, спускался под 8-м на пересыпку у Артиллерийской бухты и оттуда сейчас выходил на Николаевскую площадь. Но так как это было довольно далеко, то я избрал другую дорогу, ставшую уже моим обыкновенным путем. Правда, здесь было гораздо опаснее, но... ведь ходили же тут люди... Самая опасная часть этого пути была площадка, шедшая от нашей батареи и каземата 5-го бастиона к Чесменскому редуту. Пули, ядра и бомбы бороздили ее по всем направлениям, залетая даже с 4-го бастиона, смотревшего несколько во фланг ему. С этой площадки выходили на Чесменский редут и спускались в глубокую и довольно широкую траншею, в которой находились блиндажи резервов прикрытия. Как пещерные кельи, шли они, углубляясь по обеим сторонам траншеи, выглядывая длинной вереницей дверок, дверец и дверей, порой створчатых, со стеклами даже. Когда бы ни приходилось проходить этой траншеей, постоянно можно было видеть ставившиеся в ней у дверей блиндажиков самовары, самоварчики или просто медные чайники, так что вверху траншей беспрестанно вился дымок, точно бомбы рвались там поминутно.

Поднявшись из этой траншеи и пройдя несколько между совершенно разрушенных домов и дворов, выходили на улицу, перпендикулярную к Морской улице, спускавшуюся возвышением от 5-го бастиона и с половины вновь поды-

мавшуюся. Остальной путь лежал по Морской улице, с которой, не доходя до рынка, поворачивали направо, на широкую улицу, прямо ведшую к Николаевской площади. Кроме Екатерининской и Морской улиц, названия прочих не доводилось мне слышать за бытность мою в Севастополе, а потому не определяю их теперь названиями.

Час обеда нашего на бастионе зависел от того, как мы рано вставали. Я был в компании с А*. Хозяйством у нас заведовал, воплощенная точность и аккуратность, подпоручик и сожитель лейтенанта по блиндажу. У него и хранились складчинные деньги для стола. Провизия закупалась каждый день поутру на базаре. Несмотря на это, некоторые запасы имелись на батарее постоянно, в том числе и несколько кур. Держать же петухов вошло даже в моду; и некоторые из нас, начиная с лейтенанта, завели себе по великолепному алектору[94]. Ночью подымали пятелы такой крик, что он, верно, был слышен в лагере у неприятелей. Солдатам и матросам в особенности нравилась эта деревенская обстановка. У лейтенанта был отличный петух, совершенно ручной, любимец целой батареи. Матросы прозвали его Пелисеевым (Пелисье). Однажды бомба так напугала Пелисеева, что он в паническом страхе, с ужасным криком и квохтаньем перелетел через бруствер и скатился в ров. Один молодой матросик, завидевши это, впопыхах бросился за петухом той же дорогой, через бруствер, не обращая внимания на посыпавшиеся на него пули.

Французы видели всю эту проделку из своих траншей, единодушно закричали и захлопали сначала петуху, а потом матросу.

Оригинально обедывали мы иногда в хорошую погоду, когда душно становилось в сыром блиндаже. Стол накрывался на площадке батареи, возле пятипудовой мортиры, и все мы, усевшись вокруг, кто на пружинном кресле, как-то занесенном сюда из города, кто на картечной жестянке, подложив на нее несколько поддонов, кто на кокоре[95] и т.д., насыщались себе земными благами под открытым небом, под музыку пуль и ядер.

Пули и осколки, случалось, падали промеж нас, но постоянно так счастливо, что никого не задевали.

Впоследствии одного нашего мичмана слегка ранило за подобной трапезой пулей в руку.

Пища матросов варилась также на батарее. Провизия им ежедневно приносилась из их экипажей.

Солдатам обед и ужин приносили из города, из ротных артелей.

Общая наша с матросами кухня состояла из неглубокой ямы, вырытой у одного из траверсов батареи. Кое-какая печь и маленькая плита занимали все пространство ямы. Как-то удивительно прилаженный над ними свод защищал, пожалуй, от пуль и осколков, но не от бомб. Поэтому нам выдавались деньки, в которые мы, поневоле, должны были сидеть без обеда. После обеда кто отдыхал, запасаясь свежими силами для ночного бодрствования, кто играл в карты, шахматы и т.п. или занимался чтением. Утвердительно можно сказать, что чтение никогда не доставляло и не будет мне доставлять таких наслаждений, как на бастионе. Здесь, при возбужденных нервах, при жажде умственного отдыха, както яснее усваивал себе человек все умное и поэтическое, вдаваясь порой в совершенную иллюзию очень часто по поводу произведений, неспособных в другое время произвести хотя часть такого впечатления.

Игра в карты, во всевозможные игры шла на бастионе постоянно.

Главное место наших собраний было в каземате 5-го бастиона, который находился от нас через одну батарею.

Внутри каземата помещался перевязочный пункт для подания раненым первой помощи. Шумное и веселое общество можно было здесь встретить во всякое время дня и ночи. На 6-м бастионе в каземате имелся рояль; и в иной день устраивались здесь музыкальные вечера en forme*; скрипка и кларнет приходили с 4-го бастиона, а флейта — с 5-го. Сначала обыкновенно все шло чинно, солидно, как следует, с

* en forme (фр.) — по всем правилам.

важностью, со вниманием выслушивалась даже классическая музыка; но мало-помалу, незаметно, вдруг как-то совершался переход, смотря по настроению, или к Камаринской, или же к какой-нибудь заунывной нашей национальной мелодии. Раз на подобном вечере устроился „bal masqué". Один хорошенький юнкер был одет в женское платье и весьма эффектно пропел под аккомпанемент инструментов песенку, начинавшуюся словами:

Кохайтэся, чернобривы...

Неизвестно только, почему после каждого куплета хором подхватывали все какой-то венгерский припев: „Сегем, легем накатана".

На бастионе мы ни в чем не терпели недостатка, даже в самых предметах роскоши. Были бы только деньги! А, признаться, порядочное количество презренного металла требовалось даже на самое необходимое: цены на все были очень высоки*.

На батарею к нам хаживали два разносчика почти каждый день поутру и перед вечером. Один из них был плотный мужичина с окладистой рыжей бородой, говорил он густым басом. Как маленький нож, болтался у его бока саперный наш тесак. На груди его красовалась на георгиевской ленточке медаль „За храбрость", даваемая волонтерам вместо знака Военного ордена. Он чрезвычайно был озлоблен против французов.

— Оскретком[96], знашь, хватил меня, проклятый хранцуз, — говорил он, проводя ладонью по широкому рубцу на своем лбу.

— Да почему же ты знаешь, что француз, а не англичанин? — спрашивал его кто-нибудь из новоприбывших.

---

* Фунт хорошего белого хлеба продавался по 10 коп. сереб.; стеариновые свечи по 50 коп. сереб. за фунт; сахара фунт по 60 коп. сереб., (впоследствии понизилось до 40 коп. сереб.); бутылка портера стоила 3 руб. сереб. Шампанское же было решительно по сибирской цене, по 7—8 руб. сереб. бутылка и т.д. *(Примеч. авт.)*

— Почем? Сам ходил на хранцуза, с Степаном Лександрычем (С.А.Хрулев), — важно отвечал разносчик. — Дело было такого сорту: десятого марта наши вылазку делали. Пришел я на курган с корзинкой — заказец был от охвицеров. Ну, а наши „уру“ кричат, так и заливаются, и заливаются, погнали, стало, хранцуза. Резерфы-то проходят мимо, солдатики говорят: бери ружье, сходи-ка в транчею, что тут сидишь без толку... Бросил я корзину-то свою, ружье добыл, да с нашими-то в транчею, в транчею, слышишь, к нему прямо. Ну, а как в чувствие пришел, глянь-поглянь: в шпиталь положили!

В жаркие дни, которые стояли за весь июль месяц, сильно одолевали на бастионах мухи. Это был здесь наш второй внутренний враг — дневной, не уступавший в количестве первому — ночному, известным черкесам. Оба они так допекали защитников Севастополя, что об них стоит упомянуть. Стоило днем поставить на бастионе влажную тарелку, как она вмиг густо чернела облеплявшими ее мухами.

Для раненых мухи были истинным наказанием. Нельзя не содрогаться, представляя себе те мучения, которые претерпевали от этих насекомых несчастные раненые, остающиеся на поле битвы до уборки тел, которая замедлялась иногда до двух дней, — как то сделали французы после дня 26 мая.

На бастионах посредством так называемых камуфлетов уничтожали мух беспощадно. Когда в блиндаже набиралось их много, рассыпали по столу дорожки пороху и делали вспышку. Таким образом уничтожались мириады мух.

Как ни старались мы, бастионные жители, разнообразить свою жизнь, как, наконец, ни свыклись мы до полного даже равнодушия со всеми ужасами севастопольской осады, но, тянувшись долго, она наводила порой такую отчаянную тоску, что просто смерть в тот час казалась красна.

По воскресеньям и праздникам почти всегда служили у нас на батарее (как и на всех прочих) молебны.

Торжественное, благоговейное спокойствие и величавость божественного служения проливали надолго успокоительную отраду, заставлявшую позабывать наше трудное положение. „Кто на море не бывал, тот Богу не маливался“,

говорит пословица, и смысл ее подходил к положению севастопольцев. Теперь не передашь словами всей торжественности иных дней, например 26 июня, когда преосвященный Иннокентий совершал литургию в Михайловском соборе и благословлял войска при торжественном пении торжественного гимна: Спаси, Господи, люди твоя!

День этот невольно заронился в память каждого присутствовавшего при богослужении, а через два дня случился в Севастополе другой, навсегда памятный, хотя горестный день для всех его защитников.

28 июня адмирал Нахимов был смертельно ранен на Малаховом кургане.

Не буду распространяться о всех подробностях этого грустного события, описанных уже много раз. Скажу только несколько слов о той минуте, когда был ранен Нахимов. Сопровождавшие ее обстоятельства переданы мне лично заведовавшим Малаховым курганом, капитаном 1-го ранга Керном, который в то время, когда адмирал был ранен, стоял с ним об локоть. 28 июня, накануне дня св. Апостолов Петра и Павла, когда Нахимов прибыл на Малахов курган, у Керна, в церкви, устроенной им в башне, шла вечерняя служба. Видя, что Павел Степанович долго застоялся на опасном месте, высунувшись притом из-за бруствера, Керн, чтоб отвлечь его от опасности, сказал ему, что в башне служба идет и не угодно ли будет адмиралу прослушать ее. Нахимов, как известно, отвечал: „Я вас не держу-с“. Спустя несколько, адмирал собирался уже сойти с банкета, как в это время одна из наших бомб, брошенных с кургана, попала в ближнюю неприятельскую траншею и, разорвавшись там, взбросила кверху два растерзанных неприятельских тела.

— Эк, их знатно как подбросило! — невольно воскликнул сигнальщик.

При этом Нахимов вернулся назад и снова, опершись локтем на банкет, стал смотреть в трубу. Стоявший возле лейтенант Колтовской[97] заметил адмиралу, что в него целят; но Нахимов все не переменял положения и вскоре был поражен пулей в висок. Керн и с ним несколько офицеров от-

несли его на своих руках в блиндаж для подания ему первой помощи.

Надо было видеть горе и отчаяние моряков, когда они увидели, что Нахимов смертельно ранен. Я сам был свидетелем тому, как закаленные усачи глотали невольные слезы. Не один матрос, не один моряк-офицер сбегал поразведать и на Северную сторону, куда перевезли раненого Нахимова, и на Малахов курган, где он был ранен.

Как я уже говорил, неприятель энергически стал подаваться вперед.

Между нами и врагом загорелась трудная борьба. К несчастью, с его стороны было много вероятий на выигрыш. Он мог по произволу менять место, пользоваться малейшим обстоятельством: очень темной ночью, туманом, который весьма часто выпадает в Крыму; мог прибегать к различным хитростям и т.д. Даже лунные ночи более покровительствовали врагу, потому что луна льет такой обманчивый свет на известковато-холмистое местоположение, какое вообще под Севастополем, так скрадывает расстояние или увеличивает все, что чрезвычайно трудно примениться ко всему этому; тем более когда надо было улавливать моменты.

В подобных обстоятельствах многое зависело от бдительности секретов и точности их донесений.

Наконец все-таки, если неприятель замечал, что известная наша батарея слишком вредит его работам, он сосредоточивал по ней сильнейший огонь.

Несмотря на все это, в течение двух месяцев мы заставляли неприятеля подвигаться весьма медленно.

Сознавая, что действие нашей артиллерии вообще во все время было очень хорошо, неприятель заметил, что никогда действительность ее выстрелов не была так велика, как в продолжение времени, начиная с июня месяца. Эта страшная для французов верность наших выстрелов заставила их думать, что в Севастополь прибыли особенно искусные артиллеристы или получены новые необыкновенно верно

стреляющие орудия*. Никаких особенных орудий не прибывало в Севастополь, но, действительно, с последних чисел мая стали назначаться на бастионы полевые артиллеристы, которые и внесли, конечно, туда специальное знание артиллерийского дела.

К 4 августа неприятель довел свои работы до такого пункта, дальше которого трудно было двигаться вперед, пока орудия севастопольских укреплений были целы.

Настало 4 августа.

Самым ранним утром этого дня получилась на нашей батарее, как и вообще на всех прочих, бумага, в которой объяснялись наши намерения на этот день и то, что должно будет предпринять при различных могущих произойти случаях.

Так, например, по известному сигналу, при удавшемся для нас сражении, которое предпринимали наши войска в этот день, батарея наша, в свою очередь, должна была открыть канонаду по известным батареям неприятеля.

Мы — масса севастопольцев, не имевшая возможности входить в кабинетные соображения вождей, полагали радостные надежды на этот день, 4 августа.

Удача — на нашей стороне, думали многие; и, как тяжелая мера, как страшный сон, сгинут все ужасы севастопольской осады! По траншеям и батареям врага, несущим теперь смерть да смерть, можно будет свободно прогуливаться; осматривать все это грозное, запретное теперь для нас пространство... Да и мало чего не фантазировали многие! В крайне напряженном состоянии были все остававшиеся в Севастополе и тревожно поглядывали на отдаленный, стелющийся в направлении по Черной речке пороховой дым, прислушиваясь к глухим отдаленным перекатам сильно разгоравшейся пушечной пальбы. Некоторые, в особенности из числа много рассчитывавших на настоящее дело на Черной речке и роптавших также до этого на наше бездействие, заранее были уверены в нашем успехе и приготовляли даже

---

* Bazancourt: L’expedition de Crimée. (фр.) — Базанкур: Крымская экспедиция. *(Примеч. авт.)*

шампанское, раскупорить которое собирались в ближайшей покинутой неприятелем траншее.

Ждем. Вот уже полдень! Пора бы, думает каждый, подавать сигнал; и тут сомнение невольно закрадывается на сердце. Вот два часа пополудни; но все нет никаких вестей! Уже пробило три часа; четвертый на исходе, и все повесили головы, мысленно борясь еще с надеждой и сильнее со все возрастающим сомнением о нашем успехе.

Наконец решилось, узнали! Наши отступили.

Ни пламенное желание сразиться с врагом, ни мужество, ни отчаянная храбрость наших войск, возбудившая удивление даже в самих неприятелях, ничто не помогло! Все разбилось о случайность, о неприступную местность. Вот что говорили о дне 4 августа люди, знакомые с делом.

Наступление с нашей стороны должно было последовать непременно.

Много имелось к тому побудительных причин; между прочим, пламенно желали того войска. Севастопольская бойня, без конца длившаяся, привела всех участвовавших в ней в крайне напряженное состояние; такое состояние, что каждый охотно готов был согласиться на кровавый бой с врагом, хотя бы и во сто раз превосходным в своих силах, хотя бы находившимся на неприступнейшей местности.

Наступление это могло быть произведено или из самого Севастополя, или извне его. В последнем случае единственный пункт был Федюхины горы. Мнения начальников разделились. Многие представляли необходимость атаки на Федюхины горы; другие настаивали на атаку неприятеля из города. Предположение же насчет того, чтоб оставить Севастополь (хотя в сущности и благоразумное) по своей неожиданности встретило всеобщее сопротивление и более прежнего еще возбудило желание сразиться в открытом поле.

Все остановились на одном мнении — во что бы то ни стало сразиться с неприятелем; дело было решено и назначен день его — на 4 августа.

Начальники, говорившие, что следует нам атаковать неприятеля непременно из города, основывались на таком соображении: нам следовало решительным наступлением

овладеть бывшим Камчатским люнетом, 24-орудийной батареей, Зеленой горой и, наконец, самим редутом Виктории; вытеснить неприятеля на оконечность Сапун-горы, за Килен-балку и утвердиться на пространстве между Каменоломным оврагом и Делагардиевой балкой. Успех этого, поясняли они, доставлял нам ту выгоду, что все осадные действия неприятеля и его батарей против левой половины севастопольской оборонительной линии будут в наших руках; что усилия его против правой половины будут парализованы, траншеи против 2-го отделения будут продольно обстреливаться с Зеленой горы, и союзники не дерзнут штурмовать 4-е и 5-е отделения, имея у себя во фланге значительный отряд наших войск. Федюхины горы и Чоргун очищаются сами собой. Дорога, спускающаяся с Сапун-горы, самая саперная дорога, Инкерманский мост — свободны. Неприятель, если он не успеет в первый день выбить нас из вновь занятой нашей позиции, будет принужден сосредоточиться в Балаклаве и Камыше, не имея между этими двумя пунктами свободного сообщения; ибо наша кавалерия, владея выходами на плоскости Сапун-горы, будет в состоянии воспрепятствовать всякому движению неприятельских войск.

Войск для подобной операции полагалось нужным всего 65 000.

К 4 августа, как я заметил уже, неприятель пришел своими работами на тот пункт, далее которого трудно ему двигаться, пока орудия наших укреплений целы. С 5 августа начинается жестокое бомбардирование по левой половине оборонительной линии. Неприятель прибегнул ко всей своей материальной силе, на ней рассчитывая свой успех. Ожерельем батарей, вооруженных орудиями огромного калибра, окружил он бывший Камчатский люнет. Эти батареи стреляли по фасадам Корнилова, 1, 2 и 3-го бастионов. Бывший Селенгинский редут вооружался орудиями, поражавшими тыл Рогатки. Для большего усиления разрушительного действия прицельного огня количество мортир у неприятеля возросло до небывалого числа, усиливши в изумительной степени навесный огонь по гарнизону. Притом Пелисье ожидал присылки еще 400 мортир.

По весьма ограниченному количеству мортир в Севастополе нечем было отвечать врагу на его губительный навесный огонь. Стали поневоле изыскивать средства заменить их длинными орудиями посредством разнообразного употребления элевационных станков.

Даже — голь на выдумки хитра — на бастионах придумали отчасти заменять недостаток мортир посредством так называемого устройства орудий: на попà. На нашей батарее делалось это следующим образом: выбравши из числа подбитых неприятелем орудий менее поврежденное (как то, с разбитой немного дульной частью или ровно отлетевшим цапфом), клали его в вырытую на площадке батареи яму, сообразную своей глубиной с придаваемым орудию углом возвышения. Грунт нашей батареи был каменистый, а потому орудие сидело своей казенной частью просто, без подкладывания бруса, что было бы, конечно, необходимо при обыкновенном грунте земли. Бомбы также заменялись порой соответствующих калибров брандскугелями[98], которых очки (включая, конечно, одного для помещения трубки) плотно заделывались.

— Небось не дадим наругаться над собой! — говаривали матросы, выстреливая из орудия „на попà“ или посылая неприятелю преобразованный в бомбу брандскугель.

С 5 августа без устали день и ночь стали работать неприятельские артиллеристы, имея по две и по три смены прислуги при своих орудиях. Следствием этого бомбардирования было то, что неприятель быстро пошел вперед, и наши верки приходили все больше и больше в упадок, несмотря на огромную потерю людей при исправлении их. Можно сказать, что каждый тур, ставимый нами в амбразурах, стоил нескольких жизней.

В течение ночи наши открывали страшную канонаду по работам неприятеля. Поэтому он начал прибегать к следующему маневру: днем усиливал огонь донельзя, выпуская несчетное количество снарядов и сосредоточивая пальбу главным образом на наших амбразурах, направленных на его работы. Если ему и не удавалось подбить орудия, то он почти всегда сильно вредил нашим брустверам. Когда же ночью

торопились у нас исправлением их, траншеи союзников двигались вперед. В случае, когда амбразуры наши, действующие по работам неприятеля, оставались целы, то канонада и бомбардирование доходили до крайней степени своего ожесточения, начинаясь всегда ночью, после первого выстрела, направленного нами по вражьим работам. Лишь сильный штуцерный огонь, открываемый нами с бастионов при первом указании начавшихся неприятельских работ, удерживал быстрое стремление врага вперед. Секреты наши доносили, что от подобного огня у неприятеля бывает много раненых и убитых. Но все-таки, хотя и медленно и с огромными потерями, неприятель подавался вперед с каждой ночью.

С введением у нас ружейной пальбы по работам неприятеля мортирный огонь его усилился чрезвычайно, и потери в людях увеличились и у нас.

При страшном разрушении и гибели на бастионах наши всеми мерами старались удерживать неприятеля, но остановить его нельзя было.

Неумолкаемая канонада, беспрерывное исправление батарей и неминуемое при этом пересыпание земли совершенно разрыхлили и распылили почву. Удар одного ядра, взрыв одной бомбы в валу портили его на большое расстояние. Благодатью был бы для нас теперь проливной дождь.

Не только реставрировать, но даже было трудно починять укрепления.

От беспрерывной починки бруствера со стороны внутренней крутости вал хотя медленно, но подавался назад*, берма исчезала, а ров делался шире и мелел. Притом, чтобы мешать нашей починке амбразур, неприятель устроил правильную пальбу из штуцеров. Днем он замечал наши повреждения и ночью открывал по тем местам губительный штуцерный огонь как с близких, так и с дальних траншей.

Увеличивающееся число его зигзагов делало для нас исправление амбразур почти невозможным, тем более что

---

* Бомбовый погреб в исходящем углу 3-го бастиона, находившийся сначала около двух сажен от заложения банкета, к концу осады уперся в вал. *(Примеч. авт.)*

работы неприятеля были недалеки и он почти всегда успевал открывать нашу починку.

Канонада и бомбардирование неприятеля становились все грознее и грознее.

Союзники, убеждаясь более и более, что главная сила Севастополя — не верки, а грудь его защитников, увеличивали число своих мортир.

Рабочие наши тщетно напрягали свои усилия, чтобы к утру за ночь исправлять все. Беспрерывные новые повреждения, земля, обратившаяся в пыль, и напряженные усилия неприятеля — не дозволять нам исправляться — увеличивали число наших повреждений, делая невозможным приведение бастионов в совершенный порядок.

В половине августа неприятель был так близок, что не мог уже двигаться летучей сапой[99] и пошел тихой.

В это время французы были от 2-го бастиона саженях в 45-ти, от Малахова кургана — в 50-ти; англичане же от 3-го бастиона — саженях в 65-ти.

Упорством и удивительным самоотвержением 2-й бастион успел остановить сапу в 20 саженях от себя.

Притом же бастион этот, лежавший в небольшой котловидной впадине, мог прямыми выстрелами бить голову сапы и мантелет[100]. Последний часто загорался от выстрелов наших по преимуществу легких полевых орудий, которые ночью ввозили на барбеты для стрельбы через банк; но французские саперы, имея под рукой „pompe foulante“*, большей частью успевали заливать огонь, хотя и под усиленными по ним ружейными и картечными залпами нашими.

Перед Малаховым курганом французы дошли на 12 сажен. Ложементы же их в ночь с 26 на 27 августа выдвинулись под покровительством адского бомбардирования еще ближе.

Влияние местности Малахова кургана главным образом благоприятствовало этому.

---

* „pompe foulante“ (фр.) — нагнетательный насос.

Грунт кургана состоял из известкового плитняка и местами известковатой глины. Впереди гласисной батареи, непосредственно за рвом, поднимался чуть заметный бугорок этой формации, не вредивший действию наших выстрелов до того времени, пока неприятельская сапа не начала подниматься из лощины по покатости кургана. Теперь он стал оказывать вредное влияние, мешая пониженным нашим выстрелам бить в голову сапы. Бугорок этот, или натуральный гласис Малахова кургана, весь был изрыт воронками бомб и натуральными неровностями. Давая всевозможный угол понижения, срезывая стул амбразуры донельзя, невозможно было достать до сапы у некоторых пониженных пунктов, которыми неприятель пользовался весьма искусно. Таким образом вблизи он проходил уже с меньшей опасностью: его сапа подвергалась только дальним фланговым выстрелам 2-го и 3-го бастионов и не везде выстрелам кургана.

Вообще левая половина нашей оборонительной линии, страдавшая от беспрерывной канонады, несмотря на все принимаемые меры, представляла неутешительное зрелище: с амбразурами, заваленными, без мерлонов, опрокинутых внутрь бастиона или наполовину срытых; с траверсами, поваленными в разные стороны; со рвами, засыпанными наполовину.

Уже не одни укрепления и улицы города, ближайшие к оборонительной линии, представляли вид, от которого сердце обливалось кровью, — весь Севастополь глядел могилой. Угрюмее и угрюмее становились с каждым днем даже центральные улицы — при взгляде на них невольно приходили на ум описания городов, опустошенных землетрясением. Уныло смотрела Екатерининская улица, месяц тому назад еще так оживленная и пышная, теперь пустынная, полуразрушенная и еще разрушающаяся. Ни по ней, ни на бульваре не видно уже ни одного женского личика, ни одного человека, который бы ходил свободно и беззаботно. Угрюмые партии войск да фурштатские телеги, да севастопольское „perpetuum mobile“ — окровавленные носилки — сновали по мостовой, изрытой воронками бомб. На всех лицах лежала какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и изнурения.

Ходить в город было незачем: ни одного радостного слуха, никакого развлечения там нельзя было встретить. На бастионе, несмотря на опасности, право, было как-то приветнее.

В настоящее время по справедливости следовало называть Севастополем Николаевскую казарму, в которой сосредоточилась вся жизнь города. Здесь были и штабы, и канцелярии, и госпитали, и казармы, церковь, присутственные места, гостиницы, аптека, кондитерская, лавки и проч.; но от неприятельских выстрелов порой не спасали и своды казармы.

Чтобы дать понятие, как обстреливался теперь Севастополь, достаточно будет, если скажу, что штуцерные пули стали поражать на самой Николаевской площади, безопаснейшем дотоле месте в целом Севастополе, у б е ж и щ е, как прозвали ее, а также, конечно, и самую казарму.

При характере хода осады, грознее ставшем обрисовываться после дня 6 июня, непременно требовалась скорая, постоянная и безостановочная переправа через Севастопольский рейд. Но задача была весьма трудная: требовалось выполнить много важных условий. Большая часть считала это дело даже невозможным. Между прочим, действительно, казалось бы невозможным устроить, и притом в короткий срок, постоянный мост через Севастопольский рейд, подверженный сильному (для моста) волнению и так называемой толчее, имевший в ширину на удобнейшем месте для устройства моста около 450 сажен, на глубине в 14 сажен. Но честь и слава нашим инженерам, без того уже прославившимся за время осады Севастополя: в 15 дней устроен был по плану* генерал-лейтенанта Бухмейера[101] (начальника инженеров армии) бревенчатый плавучий мост на якорях через рейд, между Николаевской и Михайловской батареями, шириной между перилами 2½ сажени. Место это определилось как самим очертанием берегов рейда, так и тем, что оно было равно удалено от неприятельских батарей и Килен-балки и Карантинной бухты и прикрыто городом от батарей на Зеленой горе; вследствие этого мост мало терпел от не-

---

* Проект его был утвержден 23 июня. *(Примеч. авт.)*

приятельских снарядов. Вся оковка для него была изготовлена пятнадцатью батарейными походными кузницами в продолжение трех недель.

15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, мост был освящен и в восемь часов утра открыт для сообщения.

Что же думали севастопольцы о вдруг появившемся верном сообщении с Северной стороной? Пожалуй, кто-нибудь подумает, что в их головах бродила мысль об отступлении.

Смело скажу, что нет. Взбрести в иную голову, пожалуй, все может порой! Но если говорить про массу, про ее мысль, то защитники Севастополя далеки были от того, чтобы отступать; даже думать не хотели об отступлении; несмотря на то, что, обороняя полуразрушенный Севастополь, в сущности защищали лишь призрак, имя без значения. Напротив того, по-видимому, все готовилось в Севастополе к отчаянной борьбе: припасали вторые линии, устраивали баррикады и собирались обратить в цитадель каждый дом, дать отпор из-за каждой развалины.

Как после оказалось, неприятель также рассчитывал на осадную войну в самом городе.

19 августа я был отозван с дивизионом назад к своей батарее. Мои орудия заменились на бастионе небольшими карронадами. Вообще начальство по возможности старалось свозить с бастионов и с самого города все, что было получше; и это казалось очень натуральным, когда брали в соображение страшное усиление огня неприятеля. Следовательно, выгружение складов и арсеналов было мерой весьма естественной; что же до того, что на бастионах правой половины большую часть подбитых бомбовых орудий не заменяли новыми орудиями, то это мы объясняли себе тем, что в настоящее время, когда неприятель был так близок, тяжелые орудия на бастионах не так уже были полезны, как прежде.

Не с особенной радостью покидал я бастион. В течение трехмесячного постоянного пребывания моего там я так свыкся с жизнью на бастионе — сжился с его обитателями, что, право, грустно было расставаться, тем более что неизвестно было: куда еще, в какой угол Севастополя забросит

судьба. Первые мои шаги по разрушенным улицам города произвели на меня ужасное впечатление: мне стало тоскливо, как будто бы я проезжал около родительского дома, спаленного пожаром.

Однако, по мере удаления от бастиона, в душу стало проситься какое-то материальное, безотчетно успокаивающее чувство. Все мелочи обыденной жизни рисовались в каком-то завлекательном виде. С каким, например, удовольствием предстояло мне отужинать в квартире и, вдоволь наговорившись с товарищами, раздевшись, улечься на постель, приготовленную как следует, и заснуть не в тесном, душном блиндажике, под немолчное жужжанье пуль, взвизги ядер и громовые разрывы бомб, а в просторном, удобном помещении в Николаевской казарме, под мерное постукиванье часового маятника, так и напоминающее залу родного дома; ожидания мои напоминали собой мысли школьника, едущего из училища на каникулы. И я не ошибся — нашлась и квартира, и ужин, и чистая постель. Под сводами Николаевской казармы можно было в постели подумать, что, засыпая, — засыпаешь не на вечный сон, а даст Бог, пробудишься наутро, как пробуждаются все добрые люди посреди мира и тишины...

Всему настоящему как-то не верилось, чудилось, что находишься среди какой-то необыкновенной жизни. И как радостно было пробуждение! Мне решительно казалось, что я не в Севастополе, а где-нибудь в гостях у помещика: вычищенное платье мое и чистое белье лежало на стуле возле меня; сапоги, доведенные усердием денщика до степени зеркальности, скромно стояли рядышком у моей кровати, сам я лежал под одеялом...

— А что, раненых нет?... — чуть не спросил я, вскакивая с постели около полудня, ослепленный лучами солнца, которые ярко играли по всем предметам и на моем собственном лице.

— Все ли благополучно? — не удержавшись, спросил я, заметив, что в комнате много народу.

— Все благополучно, — улыбаясь, отвечали мои товарищи.

— А знаете, — тут же сказал один офицер, — я сегодня был на 5-м бастионе, и вообразите, что ночью, в блиндажике П*, на месте, где вы обыкновенно спали, убило гранатой пехотного офицера, наследника вашей постели.

— Судьба бережет вас... — проговорил, подходя ко мне и протягивая мне руку, некто Л*.

В Севастополе за время осады много перебывало оригиналов, храбрецов, чудаков, патриотических и quasi-патриотических феноменов. Но оригинал, о котором я собираюсь говорить, то есть Л*, был, кажется, оригинальнее всех. Еще в июне, явившись раз с бастиона в город к товарищам, увидел я в их обществе какого-то господина лет сорока в солдатской шинели. Благородное лицо его, белые, нежные руки и небольшая нога заставили меня с первого мгновения приметить в нем что-то особенное. Товарищи мои поспешили представить нас друг другу, и я узнал вскоре, что незнакомец этот отставной гусарский майор Л* и что побудительные причины (неизвестно какие) заставили его отказаться на время от своего звания и принять звание рядового в нашей батарее, так как он желал служить непременно в артиллерии: „У вас по крайней мере не надо таскаться с ружьем“, — говорил Л*, когда его спрашивали о предпочтении, им оказанном артиллерии. Он был вдовец и имел сына, который готовился уже поступить в корпус. Л* в свою недолгую жизнь прошел огонь и воду, находился в двадцати разных должностях: занимал место городничего, состоял чиновником особых поручений при —ском генерал-губернаторе, производил несколько трудных следствий, и каждый раз с большим успехом, как о том значилось и в его формуляре. Л* был особенно хорошо рекомендован нашему батарейному командиру, а потому офицеры нашей батареи сейчас приняли его в свой круг как товарища. По временам, в минуту болтливости, мы пытались было расспрашивать о подробностях его жизни, причинах его появления в Севастополе, но он всегда отделывался шутками, и, наконец, был оставлен в покое.

Л* не на службе носил обыкновенно гусарскую форму, потому что был в отставке с мундиром; он также получал и

пенсию по чину майора, которым был награжден при отставке. Все это показывало, что Л* не исключен из службы за что-нибудь дурное.

Настроение духа его было какое-то необыкновенное; казалось, он чего-то искал, чего-то вечно ему недоставало.

Для него ничего не значило побывать на любом бастионе в любое время дня и ночи, под каким бы то ни было огнем. Он даже вызывался ездить туда вместо других и всегда исполнял поручения скоро и точно.

Его звали обыкновенно по имени и отчеству: Густавом Ивановичем;и Густав Иванович за свое полнейшее презрение к опасностям скоро стал известен почти целому Севастополю.

Иногда случалось, что его целый день никуда не посылали; тогда ему самому не сиделось, и, велевши оседлать своего шкалика — черненькую, маленькую, бойкую татарскую лошадку, он отправлялся разузнавать новости по бастионам.

Иногда при нем во время сильно разгоревшейся канонады кто-нибудь упоминал в разговоре: а любопытно бы было знать, что делается на таком-то бастионе. Густав Иванович, не говоря ни слова, вдруг исчезал и через несколько времени появлялся уже с требуемыми сведениями.

Вскоре все невольно полюбили Густава Ивановича. Да и нельзя было к нему не привязаться: сверх своей храбрости и готовности на услугу, он был превосходный хозяин, обладал сотней дарований, бесценных при боевой жизни. Он мастерски устраивал хозяйство, заказывал разные кушанья, настаивал водку какими-то неслыханными растениями, варил кофе, действительно, выходивший у него превосходным. Он также смекал и в медицине: вылечил одного офицера от сильнейшей лихорадки и спас на Северной стороне одного грудного ребенка, заболевшего воспалением кишок. Во время последнего штурма Густав Иванович несколько раз побывал с приказаниями на Малаховом кургане, и удивляться нужно, как он отделался только контузией. Когда же войска наши переходили на Северную сторону, он оставался всю ночь в городе и башибузучничал там, все истребляя и поджигая соб-

ственными руками. Я слышал, что он получил несколько наград и, между прочим, знак Военного ордена 4-й степени. Необыкновенный Густав Иванович получил и награду необыкновенную: солдатский орден, между тем как по чину он был майором в отставке!

Напившись чаю, я из любопытства пошел осматривать дом, в котором жили мы прежде. Он был пробит в нескольких местах бомбами, ядром и ракетами. Над тем местом, где стояла когда-то моя кровать, как раз в головах, ракета просадила потолок и пол. Уходя, я взглянул и на дом, который находился на смежном дворе. Там тоже был всеобщий печальный вид разрушения... Красивая стеклянная галерея вся была разбита и обвалилась. А давно ли в майские вечера, когда еще в здешний уголок долетали лишь раскаты севастопольских громов, а не самые громы, собиралась здесь целая семья, и мы следили, как вот у этой колонки, обвитой миртом, садилась девушка и читала или работала, вся обрамленная пышной зеленью и цветами.

Носился слух, что вражий осколок не пощадил одну из прекрасных ручек...

Страдая от контузии в голову, хотя и легкой, но порой сильно мучившей меня, желая притом отдохнуть несколько после трехмесячной жизни моей на бастионе, я отпросился у своего батарейного командира поехать на два дня на Северную сторону с тем, конечно, что при малейшей тревоге тотчас же явлюсь к батарее.

С особенным удовольствием, как на какой праздник, собрался я туда. Густав Иванович, редко от чего отказывавшийся, и двое моих товарищей, свободные от службы, сопутствовали мне, по моему приглашению, отобедать вместе на Северной у Томаса. Мне казалось, что удовольствие мое будет еще полнее, когда я разделю его с людьми, с которыми судьба поставила меня в близкие отношения товарищества.

Все мы четверо выехали (даже это обстоятельство тешило меня теперь, точно я невесть как долго не видал своей верховой лошади и сел в седло в первый раз после какой-нибудь продолжительной болезни); шагом проехали по мосту, по которому и не позволялось иначе ездить, и крупной

рысью направились по дороге к северному укреплению, венчавшему в этом направлении Северную сторону. От него было еще около двух верст до балаганного городка — цели нашей поездки. Городок этот основался было с начала осады у самой Куриной балки, где находилась так называемая Северная пристань. Мало-помалу с увеличением досягаемости полета неприятельских снарядов подавался он далее и далее от рейда, внутрь Северной стороны и, таким образом отступая, отодвинулся, наконец, даже на две версты от Северного укрепления.

Это был действительно „городок“ с двумя главными улицами, довольно правильно разбитыми, с заведениями, с полицией, с рынками, с магазинами, которые все были, конечно, на главных улицах и помещались здесь в больших деревянных балаганах, из которых иные стоили до 1000 р. серебром. У одного из подобных балаганов, отличавшегося всеми признаками порядочного жилья, мы остановили своих лошадей: это и была гостиница Томаса, в которой даже имелись номера. Один из них, на мое счастье, оставался теперь свободным, и я поспешил его занять. Признаться, нам четверым было в нем тесненько, точно в бастионной конуре. Впрочем, выключая это обстоятельство, все имело здесь вид общетрактирный: те же неизбежные у окна ситцевые занавески, дешевенькие обои; ломберный столик у стены и над ним зеркало: только кровать была без ширм, необходимой вообще принадлежности каждого „номера“.

Надо отдать справедливость Томасу, он был подобросовестнее всех своих братий и равно старался угодить каждому, не так как знаменитый Александр Иванович, который смотрел в глаза лишь одним штабным.

В гостинице Томаса можно было порядочно пообедать: повар у него был очень сносный; кондитер имелся также. Вина отпускались очень хорошие. Вообще после бастионной кухни мне просто казалось, что я у Дюссо[102].

Десерт наш был натуральный: нам подали сочный алешковский арбуз, персиков и мускатного винограда.

Все это, несмотря на военное время, было очень дешево.

После кофе пошли мы осматривать городок. Разнородный люд кишел по его улицам и уличкам: солдаты и офицеры разных полков и оружия, купцы, дети, татары, женщины, колонисты, российские мужики в тулупах, несмотря на сильную жару, чиновники, полицейские — весь этот людской ералаш был здесь в беспрестанном приливе и отливе. Словом, ярмарка стояла здесь каждый божий день.

В дальних частях городка были удивительно разнообразные жилища, виднелись и палатки, и балаганчики, и клетушки, и землянки, и даже что-то вроде шкапов. И всюду жили, битком было набито народу, который сновал с лихорадочной деятельностью.

Вечером я долго наслаждался, гуляя по берегу моря, и незаметно далеко отошел от городка. Севастополь в отдалении казался еще грознее... по направлению его все гремело и гудело, горело, тряслось... и какой-то суеверный ужас невольно охватывал всякого при этом зрелище.

На другой день я чрезвычайно приятно провел время, поехавши на позицию под Меккензиеву гору к одному хорошо знакомому мне полковому командиру, где и оставался до позднего вечера. Как восхитителен показался мне его балаган, заплетенный из зеленых дубовых веток, еще не обсохших, пахучих, под которым в глубине раскинута была палатка, изящно убранная коврами, принадлежностями туалета и щегольски поставленной кроватью. Вся эта обстановка навевала особенно приятное настроение.

Назавтра, после этого так приятно проведенного мной дня, отправился я вечером к своей батарее в Севастополь.

Вот уже и Михайловская батарея; скоро что-то очутился я у нее, подумал я. Почти машинально я осадил свою лошадь, предъявляя у моста свой пропускной билет дежурному офицеру-ополченцу, и вот я опять в севастопольской сфере. Не успел еще я проехать и десяти плотов*, как старые знакомые бомбы, ядра да ракеты уже стали встречаться. Сильным порывистом ветром охватывает меня здесь. Узкое длинное пространство моста, по которому еду, исчезает во

* Мост состоял из 86 плотов. *(Примеч. авт.)*

мраке на обширной водной массе рейда, сильно колеблется подо мной и, заливаемое беспрестанно набегающими волнами, представляет в темноте вид, будто едешь просто по волнам. Впечатление это еще более увеличивает раскидывающееся сейчас же направо раздолье Черного моря, враждебно чернеющееся, глухо рокочущее; зловещий говор несется от его далеких волн, и волны эти силятся разметать, потопить мост.

Вдали на мрачной бездне моря светятся огоньки, но и они смотрят недружелюбно: это сияет теперь огненными глазами вражья морская сила. Прямо на Николаевском мыске — часовня мертвых. Тесными рядами лежат в ней мертвецы, иные одетые заботливой рукой товарища в чистое белье, иные еще в своей кровавой одежде. В сложенных на груди закостенелых руках опочивших (у которых таковые были) вставлены были зажженные восковые свечи, разливающие по всей этой могильной обстановке страшно унылый, гробовой свет, тускло, печально отсвечивающий на ближних темных волнах, шумно катящихся и набегающих к берегу.

В часовню, видно, только что прибыла новая партия мертвецов: там отбывалась панихида, и похоронное пение, звуки ночи, урчание, грохот, взвизг и свист близко пролетающих снарядов смерти, говор Черного моря и рев адской канонады в Севастополе, потрясающей воздух, сливались под покровом ночи во что-то грозно, грозно-ужасающее, величественное. Я поравнялся с часовней мертвых, но мне хотелось проехать скорее мимо этого раздирающего душу зрелища; я дал шпоры своей лошади и выскакал на Николаевскую площадь.

Наступали последние дни моей севастопольской жизни... До сей поры, когда случится вспомнить об этих днях когда-нибудь ночью, на душе становится холодно и сон надолго от меня отлетает.

С 24 августа началось новое бомбардирование, имевшее свой особенный характер.

Неприятель открывал огонь периодически. Часа три-четыре примерно гремела самая усиленная, самая страшная канонада то залпами, то беглым огнем всех батарей; потом

на несколько времени, неопределенно, следовала пауза: орудийный огонь прекращался совершенно, но штуцерный лился со всех траншей.

В продолжение этой небольшой тишины, казавшейся мертвенной в потрясенном органе слуха, осаждающий совершенно успевал починять свои повреждения, потому что его заботой было лишь исправление амбразур, мы же должны были очищать ров (работа весьма копотливая), починять амбразуры, мерлоны и траверсы, необходимые для защиты прикрытия, которые должны были мы держать на бастионах в надлежащем количестве, ожидая беспрестанно штурма. За коротким отдыхом следовал опять грохот сотни орудий, и дело разрушения продолжалось.

Совершенный хаос смерти происходил в Севастополе или, лучше, на месте бывшего когда-то Севастополя; поистине это была, как выразился преосвященный Иннокентий[103], купина огненная.

Земля дрожала, небо багровело, стонали окрестности, по которым далеко прокатывались грозные раскаты бешеной канонады. Для того, кто не был в Севастополе в это время, все описания бесполезны, оттого я буду короток в передаче моих воспоминаний.

Человеческий ум не может себе представить всего вынесенного защитниками города до последнего рокового дня. Под гнетом этих небывалых ужасов человек возвышался до невероятной решимости, до крайней, насильственной энергии, до самозабвения. В чаду смерти и крови еще можно было жить какой-то насильственной, горячечной жизнью.

86 000 снарядов (70 000 ядер и 16 000 бомб и гранат) было выпущено неприятелем по Севастополю в день 24 августа. Не было уже никакой возможности исправлять окопы и потому ограничивались насыпкой на пороховые погреба.

Брустверы, обрушиваясь, заваливали рвы, мерлоны рассыпались; должно было беспрестанно расчищать амбразуры; артиллерийская прислуга гибла во множестве, и едва успевали заменять ее.

Потеря в это время была чрезвычайная. Едва успевали выносить раненых, убитых оставляли на месте.

К орудиям стали ставить даже ополченцев.

Калужскому и Курскому ополчению выпало на долю примкнуть к числу защитников Севастополя. „Родимые, родимые пришли“, — говорили солдатики, так звали они порой ополченцев.

Проходя раз по Николаевской площади, я увидел группу пехотных солдат и ратников. Они покуривали трубочки и все глядели в сторону укреплений. Я попросил огня у одного из солдатиков и заговорил с ним о чем-то.

— А что, каковы ополченцы? — спросил я его между прочим.

— Ничего, ваше благородие, — отвечал пехотинец, — ополченный, известно, человек свежий, он недавно сюда пришел, на слободе прогуливался. Нашему-то брату, — продолжал он, отымая трубочку ото рта и отплевываясь, — теперече трех фунтов хлеба не съесть, а тому-то пяти мало! Нашего заденет, так на перевязку и тащись, а того два-три раза хватит и нипочем! Вот что народ свежий! — заключил солдатик.

Слова солдатика подтверждались его изнуренным лицом: от тревоги, передвижений, бессонных ночей, ежечасной опасности люди теряли аппетит.

Уже суда начали загораться на рейде. Высоко выкидывался при этом стоявший по несколько часов столб дыму и пламени; он поднимался под самые облака своими извивающимися длинными-длинными языками. При таком зареве под вечер при громе пальбы море, город и морской берег глядели до того страшно, что самые закаленные люди чувствовали холод под сердцем.

25 августа, только что занялась заря, пробудился в Севастополе вчерашний ад, а севастопольские усыпальницы — часовни мертвых, стали наполняться и наполняться...

26-го не прекращавшийся по всей линии огонь производился неприятелем залпами и временно усиливался то против правого, то против левого фланга нашей оборонительной линии.

Утром в этот день, не довольствуясь еще неимоверно разрушительной силой своего бомбардирования, неприятель стал бросать на Малахов курган разрывные бочки, так называемые метательные мины (mines de projection). Снаряд этот назначался для разрушения амбразур и мерлонов. Он состоял из бочонка, скрепленного железными обручами и наполненного шестью пудами пороха. Огонь сообщался посредством „английского сосиса“[104], пропущенного сквозь поддон и нижнее дно бочонка. Для метания его в задней стороне траншеи неприятель вырывал камору, которой давал наклонение в 45°; в камору помещался заряд, прикрываемый щитом, на который и ставился бочонок.

В начале третьего часа пополудни загорелся и горел до самого рассвета фрегат „Коварна“, бывшее жилище Н.В. Берга[105], состоявшего за время осады при Главном штабе, писателя, который подарил нам известные „Десять дней в Севастополе“.

Вечером был страшный взрыв на Графской пристани. Неприятельская ракета попала в порох, который, в числе 500* пудов, перевозили с Северной стороны. Сила этого взрыва была ужасная! Николаевская казарма на несколько мгновений озарилась как бы огромным электрическим солнцем, вся затряслась и задребезжала стеклами, посыпавшимися из всех ее окон.

Тяжелого калибра орудия, лежавшие на пристани, были взброшены, как палочки, и, падая, придавили нескольких человек.

В течение ночи огонь неприятеля был сравнительно слабее, но он загорелся с прежней силой в утро 27 августа. Неприятель открыл бомбардирование, как и в прежние дни, залпами из всех орудий; но многие батареи наши, занимаясь исправлением повреждений, не отвечали ему. В этот день был северный ветер; он бушевал сильными порывами, взметывая пыль по всей окрестности.

В восемь часов утра неприятель сделал три выстрела каменометными фугасами не более как в двенадцати саже-

---

* Взорвало только 200 пудов. *(Примеч. авт.)*

нях от контрэскарпа левой части гласисной батареи; но они не нанесли нам значительного вреда: край воронки далеко не дошел до рва.

К девяти часам утра с маяка дали знать о сборе войск в передовых неприятельских траншеях перед Малаховым курганом, и у нас сделаны были некоторые приготовления на случай штурма.

К одиннадцати часам утра бомбардирование достигло до неимоверной степени ожесточения; пауз не было. Оно значительно стало усиливаться на правом фланге и ослабевать на левом.

Около трех четвертей двенадцатого часа орудийный огонь против Малахова кургана, 1, 2, 3-го бастионов совершенно затих; только продолжался с той же губительной силой для прикрытия огонь мортир и штуцерных. Многие полагали, что это сделал неприятель паузу; генерал-майор Буссау[106] был такого же мнения и дозволил отдохнуть войскам, находившимся на Малаховом кургане.

Но на бастионе № 2 генерал-майор Сабашинский[107] не велел сходить прикрытию даже с банкетов, вполне предчувствуя штурм, в ожидании которого справедливо требуется предпринимать энергические меры, а не полумеры.

В начале первого часа пополудни вдруг все неприятельские батареи сверкнули, задымились сжатыми белесоватыми облаками дыма, вмиг ставшего стенами, и одновременно разразились тремя оглушающими залпами, метнувшими по Севастополю ураган металла. Вслед за тем не успела еще перелопаться масса брошенных бомб и гранат, как раздались смутные крики, бой барабанов и резкие тоны неприятельских сигнальных рожков, то подхватываемые порывами ветра, то относимые им. С долгим и непрекращающимся криком кинулись французы на исходящее углы Корнилова и 2-го бастионов и на Куртину. Все первое движение их было совершенно сокрыто от нас дымом. Полусрытый бастион № 2 мгновенно был занят французами, которые оттеснили батальоны Олонецкого полка и, заклепав часть орудий, уже достигли Ушаковой балки и 2-й оборонительной линии.

Легкие полевые орудия как здесь, так и на Рогатке, одни из здешней артиллерии встретили неприятеля.

На исходящий угол Малахова кургана кинулись главные и лучшие колонны французов. Всего 12 сажен расстояния надо было им пробежать (по проекции было меньше того). Дело совершилось в полминуты. Головная колонна неприятеля ворвалась в бастион у левого плечного угла так быстро, так неожиданно, что даже полевые орудия не успели встретить врага картечью.

Зуавы и вольтижеры, взбежавши на курган с замечательной быстротой, распустили трехцветное знамя на башне.

Все бросилось у нас к брустверу, сталкиваясь впопыхах с неприятелем лицом к лицу. Большинство орудий на кургане было подбито; некоторые дали по выстрелу; но уже тогда, когда амбразуры наполнились штурмующими.

Чтоб приложить фитиль (орудия были прежде заряжены) к затравке, сперва надо было пробиться сквозь передовых смельчаков, вскарабкивавшихся на орудие и вырывавших фитиль из рук артиллеристов. Зато, если удавалось поспеть вовремя и зажечь трубку, сплошная масса живого тела, заслонявшая амбразуру, вся подгибалась, падала и разбрасывалась в стороны. Но на место убитых становились новые стрелки и зуавы — место около выпалившего орудия уже было сравнительно безопасным.

За минуту перед началом штурма к генерал-майору Буссау приведена была поручиком Юни* команда солдат, георгиевских кавалеров, которым ордена хотел раздать сам начальник. Уже из блиндажа выходил адъютант, чтоб предварить команду о скором выходе генерала, как в это самое время неприятель устремился на штурм. Адъютант тотчас бросился назад с докладом. И он, и генерал поспешно выскочили из блиндажа. У самого выхода из него адъютант был убит пулей в грудь. Несколько человек неприятелей были уже в десяти шагах. Генерал-майор Буссау едва успел крикнуть поручику Юни, указывая на башню, чтоб он со своей командой скорее занял ее, и в то же время был взят в

* Модлинского резервного пехотного полка. *(Примеч. авт.)*

плен набежавшими французами. Когда его уводили с кургана, он был убит, говорят, нашей же пулей. Поручик Юни, на лету подхватив приказание генерала, инстинктивно кинулся к башне и успел занять ее перед самым носом французов. Заваливши вход в башню, в которой застал он нескольких человек, не успевших еще оттуда выскочить, Юни отбивался от окружавшего со всех сторон неприятеля до тех пор, пока наши не стали отступать. Неприятель, сильно претерпевавший* от меткого огня из башни, два раза посылал парламентера к засевшим там храбрецам, но Юни постоянно отвергал все предложения неприятеля, свято исполняя отданное ему приказание, и сдался, как я уже сказал, только тогда, когда Малахов курган окончательно был занят неприятелем.

Как муравьи, полезли французы на Малахов курган, завидя свое знамя на башне, заняли всю верхнюю оконечность кургана, прорвались к развалинам башни и, засевши здесь, открыли частую ружейную пальбу по строившемуся гарнизону.

Прагский полк, сначала вытесненный ворвавшимся неприятелем, снова ударил в штыки со сводной командой из матросов и разных других охотников. Завязалась одна из тех ужасных рукопашных свалок, когда целые толпы перемешиваются в крайнем опьянении боя, поражая друг друга железом, камнями, деревом, что ни попадется под руку, душа друг друга за горло, царапаясь и кусаясь в зверском исступлении.

Несколько минут продолжалась подобная отчаянная схватка. Командир полка, полковник Фрейнд[108], был ранен, большая часть бывших офицеров перебита; а между тем неприятельские свежие массы, следом за своей цепью, все валили и валили вперед, со всех сторон взлезая по обсыпавшемуся брустверу.

Французские саперы устроили три накидных мостика через ров гласисной батареи. В это время во рву сидели французкие музыканты и играли марш. Я думаю, редко при-

---

* Bazancourt: L'expedition de Crimée. (фр.) — Базанкур: Крымская экспедиция. *(Примеч. авт.)*

ходилось играть и слышать марш при такой обстановке и в такие минуты!

Местность Малахова кургана много способствовала удаче неприятеля, в то же время чрезвычайно затрудняя наши подступы. Горжевой вал и ров, как на смех, были в прекрасном состоянии. Засевши за всевозможными траверсами, число которых еще более было увеличено за последнюю бомбардировку, французы не бросались в штыки, но поддерживали только жестокий ружейный огонь, бивший на выбор. Потерявши всех офицеров и каждую секунду тая под свинцовым дождем, остаток гарнизона с кургана отступил — частью на батарею Жерве, частью за проход, ведущий к Корабельной стороне, который французы стали заделывать, и в ожидании резервов столпился у него, мешая, по крайней мере, деплоировать[109] неприятелю с кургана.

При первой вести о штурме храбрый и неутомимый лейтенант Вульферт, с самого начала осады все время проживавший на Малаховом кургане, тотчас же дал знать генерал-лейтенанту Хрулеву. Хрулев был уже на пути: по тревоге он и его свита вскочили на лошадей, потому что штурма давно ждали и лошади держались оседланными. Первым делом Хрулева, когда ударили тревогу, было взглянуть на Малахов курган, на котором при неудаче нашей должен был выкинуться синий флаг. Флагшток этот и был поднят, но его сбил неприятельский выстрел, после чего сигнал не был возобновлен, неизвестно уже по какой причине.

Не видя на кургане условного синего флага, генерал-лейтенант Хрулев сказал:

— Ну, Малахов держится, — и затем поскакал ко 2-му бастиону на своей исторической белой лошади.

Шлиссельбургский егерский полк двинул он на поддержание 2-го бастиона, но как неприятель там был уже отбит генералом Сабашинским, то полк расположился на второй оборонительной линии, между Малаховым курганом и 2-м бастионом.

Увидевши, однако, вскоре, что неприятель отбит от 2-го бастиона, а Малахов курган занят, генерал-лейтенант Хрулев быстро поворотил к последнему. По той дороге, ко-

торую избрал теперь Хрулев, нельзя было подъехать к самому кургану, а потому генерал и все сопутствовавшие ему офицеры спешились. С Ладожским егерским полком двинулся Хрулев в горжу Корнилова бастиона. Французы кинулись к горжевому валу и подняли беглый огонь на убийственной дистанции. Момент был торжественный: схвативши со своей груди висевший на ней серебряный образ, Хрулев поцеловал его и, поднявши его кверху в левой руке, крикнул, по обыкновению, своим всегда потрясающим солдатское сердце голосом:

— Благодетели, за мной, вперед!

В это самое время неприятельская штуцерная пуля раздробила ему большой палец левой руки.

Бесстрашно бросились наши войска, направленные своим любимейшим генералом, и вмиг вынеслись на курган.

Превозмогая страшно-мучительную боль, опасаясь оказать свою рану перед войсками в настоящую решительную минуту, генерал-лейтенант Хрулев превозмогал себя еще несколько мгновений; но, вопреки его воле, смертная бледность разлилась по его лицу; чувствуя, что упадет, он обратился к находившимся возле него офицерам: подпоручику Сикорскому и инженер-поручику Эвертцу и отрывисто сказал вполголоса:

— Поддержите!

После того как генерал-лейтенант Хрулев отправился на перевязочный пункт, поведенные им войска на Малахов курган, занявшие шаг за шагом все пространство кургана до последнего длинного поперечного траверса-блиндажа, но потерявшие трех своих начальников*, последовательно принимавших начальствование после генерал-лейтенанта Хрулева, пришли в пассивное положение: остановились и затеяли с неприятелем перестрелку. При этом далее вышел вот какой случай: в одном месте, на нижних рядах туров траверса, по одной его стороне стояли французы, а по другой наши, и так

---

* Генерал-майор Лысенко тяжело ранен; потом генерал-майор Юферов убит; а затем тяжело ранен генерал-лейтенант Мартинау. *(Примеч. авт.)*

на расстоянии лишь широты траверса, не более как 3 сажен, вели перестрелку, будучи по пояс открыты.

Флигель-адъютант Воейков[110], благородный, храбрый молодой человек, в пылу мужественного порыва, увещевая солдат отбить курган, вскочил на один из траверсов и в тот же миг упал мертвый.

На площадке (чертовой) стояла главная масса неприятельских стрелков, обстреливавшая из-за траверсов все узкие тропинки между траверсо-блиндажами продольным огнем. Вдруг раздались голоса на правом фланге и в тылу наших: неприятель, заняв часть прилегающей к кургану батареи Жерве, с криками торжества полез на бруствер правого фаса кургана, не совершенно еще занятый. Истинно засыпаемые пулями, войска наши, ежеминутно терявшие целые толпы товарищей, должны были отступить к саперному блиндажу, то есть очистить две трети кургана. Здесь блеснула еще надежда на возможность удержаться; но французы побежали по правому брустверу на горжевой, и по нашим войскам открылся непрерывный огонь с фронта, тыла и правого фланга. Притом силы неприятеля все увеличивались, и он напирал все сильнее и настойчивее, принимая все меры, напрягая все усилия для овладения Малаховым курганом.

— Malakoff! c'cet la clef d'or*, — справедливо решали французские офицеры, вникавшие в ход осады.

Войска наши отодвинулись наконец к подошве кургана, столпившись в громадной, но беспорядочной массе. У самого же прохода постоянно держалась, отстреливаясь, какая-то сводная толпа из разных охотников. По мере отступления наших войск французы, опасаясь новой атаки, поспешно баррикадировали главный проход, набрасывая в него туры**, вырванные из амбразур и траверсов, трупы, говорят, даже раненых.

---

* Malakoff! c'cet la clef d'or (прав. Malakoff! C'est la clef d'or) (фр.) — Малахов! Это золотой ключ.

** Здесь: плетеная корзина без дна, наполняемая землей и служащая для устройства укрытий от пуль и снарядов (обычно на стенах крепостей) // Большой толк. слов. рус. яз. СПб., 1998. *(Примеч. авт.)*

После этого напрасны были все усилия к отбитию кургана. Кучи убитых завалили узкий путь в горже, французы укрепились и привели новые подкрепления; однако и после этого инженер-подполковник Генерих с двумя ротами саперов проник в горжу укрепления, но держаться в ней не было возможности, и его геройский подвиг послужил только к лишней потере.

Еще одно удивительное явление, которому я сам лично был свидетелем, когда по поручению начальника артиллерии отправлялся на 2-й бастион. У подножия Малахова кургана четыре матроски под убийственным штуцерным огнем неприятеля, так и лившимся с кургана, разносили воду и квас стоявшим здесь войскам и подавали помощь раненым.

Не знаю, уцелели ли они. Об этих бесстрашных женщинах было доведено до сведения государя императора.

Часть батареи Жерве оставалась в наших руках, часть — в неприятельских.

У Рогатки неприятель также было прорвался, но храбрый Севский полк вынес его оттуда на штыках.

Не буду сообщать других подробностей после дела штурма: то, что я знаю, давно известно всякому; в хаосе моих личных воспоминаний не нахожу я ничего еще не сказанного прежде меня. Мало времени имел я для наблюдений и, было ли то истощение сил или следствие скорбного чувства, испытанного мной в этот ужасный день, я не находил в себе никакой восприимчивости на впечатления.

Когда наши отодвинулись от кургана и на нем окончательно развернулся французский императорский орел, пароходы наши, батареи Северной стороны и легкая полевая артиллерия открыли по кургану густую пальбу, направляя выстрелы на развевающееся там неприятельское знамя, мелькавшее в дыму и заметное со всех пунктов.

Две полевые конные французские батареи выскакали было к бастиону № 2, но решительно были сметены нашими выстрелами. На бастионе № 2 неприятель, отбитый при первой его атаке генералом Сабашинским, бросался на штурм еще до пяти раз, но всякий раз без успеха.

Около пяти часов пополудни взорван был пороховой погребок на примыкающей с левой стороны к Малахову кургану батарее по куртине, также занятой неприятелем; гул и треск от громадного взрыва разнесся по всей линии и, как потом говорили многие, повергнул в панический ужас неприятеля: французам показалось, что мы начали подрывать бастионы; целые толпы бросились назад к своим траншеям. Рассказывают, что с бывшего Камчатского люнета, на котором все время штурма находился сам Пелисье, нещадно ударили в беглецов картечью. Этими мгновениями замешательства, как говорят иные, можно было бы воспользоваться, но участь города была решена, и к чему бы послужили еще несколько дней отчаянной резни при средствах, которыми располагал неприятель, при смертной близости его подступов к нашим укреплениям.

Полевая артиллерия сильно пострадала при штурме левой половины оборонительной линии. Например, в 5-й легкой и 17-й артиллерийской бригаде все офицеры до одного, начиная с командира батареи, капитана Глазенапа, были перебиты или переранены. В числе первых пал подпоручик Николай Григорьевич Белавин, молодой человек, подававший большие надежды, добрый и благородный товарищ, счастливый жених прекрасной девушки... Штуцерная пуля поразила его прямо в сердце. И сколько других храбрых людей легло навеки, и сколько жен, невест и матерей до сих пор еще плачут о жертвах последнего штурма... Когда подумаешь обо всем этом, то по временам кажется, что весь день 27 августа не есть действительность, а какой-то горячечный бред, ужасный сон, что-то фантастическое и существующее лишь в моем воображении.

Заговорив о своих полевых артиллеристах, не могу не вспомнить здесь о полковнике Якимахе[111] (ныне генерал-майор). В последние дни осады он был одним из главных деятелей, исполняя должность помощника начальника артиллерии Севастополя. Под страшным огнем бомбардирования с удивительным хладнокровием обходил он по бастионам каждый день, утром и под вечер, покуривая сигару, как бы в обыкновенное мирное время где-нибудь на гулянье. За

угрюмую серьезную наружность прозвали его в Севастополе „мрачным полковником“.

Главнокомандующий сам прибыл ко 2-й линии укреплений против Малахова кургана и с рыцарской отвагой более получаса оставался здесь, возле дома Тулубеева, несмотря на страшный огонь неприятеля. Видя, что курган занят большими массами французов, за которыми находились сильные резервы, князь убедился, что овладение вновь бастионом Корнилова потребовало бы еще огромных жертв; а так как он уже принял намерение очистить город, то и решился воспользоваться отбитием приступа на всех прочих пунктах и утомлением атакующего для выполнения своего в высшей степени трудного плана. Генерал-лейтенанту Шепелеву[112] приказано, не предпринимая нападения на Корнилов бастион, непременно воспрепятствовать неприятелю дебушировать[113] оттуда в город, удерживая за нами до ночи разоренные строения, на северной покатости кургана находящиеся, что и было исполнено, несмотря на все усилия французов выдвинуться вперед из-за горжи. Неприятель, изнуренный событиями дня и ночи, по всей вероятности, проведенной без сна, в приготовлениях штурма, наступал слабо; со взрывом порохового погреба, о котором говорил я выше, в нем совершенно утвердилась та мысль, что на всех путях к городу устроены мины.

Около пяти часов пополудни стали развозить приказание: с сумерками начать очищение Южной стороны Севастополя.

Участь Южной части Севастополя совершилась.

Есть невозможное и для героев!

По приказанию начальника артиллерии я ездил с передками на 4-й бастион за полевыми орудиями.

Там, как и везде, шли грустные, унылые сборы. Моряки, выкупавшие до сих пор ценой крови каждое повреждение на бастионе, старались все разрушить перед отступлением: приводили в негодность орудия, рубили станки, заваливали блиндажи, устраивали приводы к пороховым погребам, которые вскоре должны были взлететь на воздух, и проч.

Каждый сознает, как тяжко, тяжко было покидать севастопольское боевое пепелище после стольких жертв и усилий... после трехсот сорока девяти дней, исполненных страдания, опасности, подвигов, изнурения и, смело скажем, многих радостных часов, многих отрадных впечатлений, которых уже более не испытаешь теперь, посреди мирной и обыденной жизни.

Когда я проезжал, возвращаясь со снятыми мной орудиями с 4-го бастиона, по Николаевской площади, там выстраивалась партия пленных, которых собирались переправить на Северную. Мое внимание привлекла отдельно стоявшая группа французов, с которыми разговаривали несколько наших офицеров. Здесь был, между прочим, и французский полковник, взятый в плен на Шварца редуте, небольшого роста, уже седой, но чрезвычайно приятный мужчина. Возле него стояли двое также французских офицеров: маленький лейтенант, все осматривавший и ощупывавший себя: не ранен ли он, и высокий здоровенный лейтенант с огромной черной бородой. Он весь дрожал, еще не успокоившись от яростных ощущений штурма, и угрюмо поводил на всех глазами; на лбу его был большой кровяной ушиб, набившийся песком.

К этому французу подошел какой-то ополченец-офицер.

— А что, мосье капитан, — спросил ополченец француза, указывая на его лоб, — это avec la pierre?*

— Je n'en sais rien**, — отвечал француз и только тут, дотронувшись до раны рукой, догадался о том, что ранен.

Вот в каком настроении духа были и наши, и неприятели в ужасный день штурма.

— Bah, une misère***, — прибавил француз и, не думая о ране, заговорил с полковником.

— Так-с, — произнес ополченец, отходя от француза.

---

* это avec la pierre? (фр.) — это камнем?

** Je n'en sais rien (фр.) — я не знаю.

*** Bah, une misere (фр.) — Ба, безделица.

В это время лейтенант разговаривал с русскими офицерами и, проезжая мимо группы, я услыхал очень умную фразу, сказанную одним из наших:

— Оба штурма ваши — большая ошибка, — говорил русский офицер французу, — для первого вы были от нас слишком далеко, а для второго слишком близко.

Бушевавший с утра ветер утих к вечеру. Но расколыхавшаяся бухта ходила широкой, сильной зыбью, и большой мост сильно бросало.

С изумительным порядком, медленно, печально очищали наши войска Южную сторону Севастополя. Скопление народа на берегу у моста, по которому затруднительно шла теперь переправа, было неизбежно.

Волнение в бухте все не переставало, и у нас справедливо опасались, чтобы не разорвало мост; а потому были предприняты всевозможные предосторожности. В девятом часу не стали уже пропускать по мосту артиллерию: для армии можно было, наконец, пожертвовать несколькими орудиями. Денщики также засуетились было здесь с офицерскими запряженными повозками, но их окончательно прогнали, заставивши самих же, во избежание всякого соблазна, потопить привезенное ими добро в бухте. Таким образом, все мы вывезли из Севастополя из своих вещей только то, что было на нас. И севастопольский дневник, как в Лету, канул в седой Понт Эвксинский[114]. Переправа раненых началась с 4 часов, тотчас после отдачи главнокомандующим приказания очищать Южную сторону. Из Николаевской казармы беспрестанно сносили на пристань койки, на которых лежали закутанными страдальцы. Отсюда на пароходах и шаландах перевозили их на Северную.

В девятом часу вечера я стоял с тремя орудиями своей батареи шагах в двадцати пяти от моста, заслоненный от него непроницаемой массой столпившегося здесь войска. Сзади со всех сторон окружали и напирали беспрестанно все подходящие войска, так что мне с моими орудиями ни с места нельзя было сдвинуться. Я велел отпрячь выносы, потому что в них, при давке, которая неминуемо происходила теперь, порой могли попасть люди, и тогда лошади начали

бы бить. Стоя здесь уже около часа, я не знал, что отдано уже приказание не пропускать более через мост артиллерию, и спокойно выжидал удобного момента, чтоб двинуться на мост. Вдруг какой-то генерал на серой лошади, сопровождаемый двумя жандармами, также верхами, стал прорываться к мосту возле моих орудий.

— Гарголь, не зевай! — крикнул я уносному фейерверкеру головного орудия.

— Слушаю-с, будьте покойны, — ответил тот, и как только с ним поравнялся последний жандарм, юркнул за ним со своим орудием, затем следующие два орудия, вслед за которыми поехал уже я.

Маневр этот был выполнен нами так живо, что находившийся у переправы генерал, будучи чем-то отвлечен в это время, успел лишь заметить, как взъезжало на мост последнее мое орудие.

— Где офицер, как смели ослушаться?! Назад, назад! — крикнул он грозно.

Подъехавши к генералу (в темноте я не мог различить, кто это был именно), я объяснил ему все, и успел даже истинно вымолить позволение продолжать переправлять свои орудия, из которых первое было уже почти на половине моста. Притом же, на мое счастье, волнение, казалось, как бы поутихло.

Я не помнил себя от радости, что успел спасти свои орудия.

Выносы впереди; за ними шагах в двадцати орудия, которые также держали одно от другого интервал шагов в сорок-пятьдесят; таким образом тащились мы шагом, составляя также часть знаменитого исторического отступления.

Радость моя скоро прошла, хотя орудия мои были уже в безопасности. В такие минуты позабудешь все орудия на свете. Мы ехали тихо, мост казался бесконечным. Ночь была совсем черна; сзади нас, в отдалении, начали уже раздаваться громовые взрывы — прощальные вздохи многострадального Севастополя. По обе стороны моста лежала мрачная, зыблющаяся мгла, а направо, на рейде, еще мелькали темные громады наших уже утопающих линейных ко-

раблей, пароходы шумно, с пыхтением сновали по всем направлениям, выкидывая огнистые снопы искр в клубах густого, черного дыма; в доках горел кран, как огромный погребальный факел; люди шли тихо, сами лошади ступали робко по зыблющемуся полузатопленному мосту, сердце щемили и глухая боль, и жалость, и тоска. Впечатление этих минут невыразимо словом.

Вот я въезжаю уже на Северную, с последним шагом через мост завершается мое севастопольское поприще, и рука невольно творит крестное знамение.

———

По окраинам Севастополя, затонувшего во мраке ночи, с конца в конец его чаще и чаще забегали огненные змейки*, чаще стали взлетать по направлению к укреплениям багровые столбы пламени, взрывы стали слышнее и ближе к окраине Южной стороны, пожары, едва показывавшиеся при моем переходе через бухту, разгорались и слились в одно зарево... Багровым огнем занялось все небо — начались последние вздохи Севастополя.

Того, что мы видели в эту ночь, никогда не передашь, и не в состоянии передать ни перо, ни слово человеческое. Для всех нас, бывших севастопольцев, она до сих пор перед глазами, забыть ее так же невозможно, как и описывать ее в наших заметках.

---

* Для произведения взрывов употреблялось весьма простое средство: просто насыпали дорожки пороха по земле. *(Примеч. авт.)*

КОММЕНТАРИИ

1. *Севастополь* — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. Главная база Черноморского флота.

2. *Бельбек* — река на юго-западе Крымского полуострова. Впадает в Черное море в 5 км севернее Севастопольской бухты.

3. *Северная сторона* — часть Севастополя, лежащая к северу от Севастопольской бухты.

4. *Прогоны* — поверстная плата за проезд на почтовых лошадях.

5. *...к своему новому батарейному командиру* — имеется в виду подполковник Николай Иванович Розенталь.

6. *Тур, тура* (фр. tour от латин. Turris — башня) — высокая цилиндрическая корзина без дна, заполнявшаяся землей и служившая прикрытием во временных укреплениях.

7. *Козарский* (прав. Казарский) Александр Иванович (1797—1833) — капитан I ранга, герой Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. В 1811 г. поступил волонтером на флот и был определен кадетом в Николаевское штурманское училище. Через три года произведен в мичманы. Служил на различных кораблях Черноморского флота. В 1828 г. за взятие Анапы и Варны награжден чином капитан-лейтенанта и золотой саб-

лей. 14 (26) мая 1829 г. 18-пушечный бриг „Меркурий“ под командованием А.И. Казарского вступил в бой с двумя турецкими кораблями, имевшими десятикратное превосходство в пушечном вооружении. В ходе двухчасового сражения „Меркурий“ нанес противнику повреждения, заставившие турок отступить. За этот подвиг Казарский был удостоен чина капитана II ранга, ордена Св. Георгия IV класса и пожалован во флигель-адъютанты. В 1839 г. на Мичманском бульваре в Севастополе отважному моряку был открыт памятник, на котором Николай I повелел высечь надпись: „Казарскому. Потомству в пример“.

8. *Малахов курган* — господствующая высота на Корабельной стороне Севастополя. Назван по имени командира роты 18-го рабочего экипажа М.М. Малахова, жившего в той местности с 1827 г. Малахов курган сыграл важную роль в защите Севастополя в 1854—1855 гг. После взятия кургана французами 27 августа (8 сентября) 1855 г. оборона города стала невозможной.

9. *Боны* — плавучее заграждение, запирающее вход в гавань.

10. *Карронада* (каронада) — гладкоствольное артиллерийское орудие с относительно коротким стволом. Начало их изготовления положено было во второй половине XVIII в. в Шотландии на заводе „Каррон“, откуда и пошло название орудия. Использовались на флоте и в береговой артиллерии.

11. *Ланкастерское орудие* — артиллерийское орудие с овальным сечением канала ствола. Овальную сверловку ружейных и орудийных стволов в середине XIX в. разработал английский оружейный мастер Чарльз Уильям Ланкастер. Необычную форму каналу ствола придают два широких нареза с сильно сглаженными краями. Имеются документальные свидетельства об использовании при осаде Севастополя в 1854—1855 гг. как минимум восьми дульнозарядных орудий Ланкастера, отличавшихся большой дальнобойностью.

12. *Мортира* — короткоствольное артиллерийское орудие, предназначенное для ведения навесного огня.

13. *Инкерманское сражение* произошло 24 октября (5 ноября) 1854 г., когда отряды генерала Ф.И. Соймонова и генерала П.Я. Павлова атаковали позиции англичан с целью предотвратить намечавшийся на следующий день штурм Севастополя. Британцы были близки к полному поражению, но их выручили подоспевшие на помощь французские части генерала Боске. Несмотря на численное превосходство, русские, уступавшие союзникам в техническом оснащении, сражение проиграли, потеряв более 10 тысяч человек. Штурм города 25 октября (6 ноября) не состоялся, но англичане и французы смогли приступить к осаде города.

14. *…с Георгиевским крестом за 25 лет…* — Награждение офицеров орденом Св. Георгия Победоносца IV класса за беспорочную выслугу 25 лет продолжалось до 1855 г. Всего такой награды удостоились 10300 человек.

15. *Фельдфебель* — чин унтер-офицерского состава и должность в российской армии. Введен в 1722 г., одновременно с учреждением „Табели о рангах“. Существовал до 1917 г.

16. *Единорог* — гладкоствольное артиллерийское орудие, сочетавшее в себе достоинства и пушки, и гаубицы, т.е. способное стрелять и бомбами, и ядрами, и картечью. Сконструировано в 50-е гг. XVIII в. под руководством генерал-фельдцейхмейстера П.И. Шувалова. На стволе орудия помещалось изображение сказочного зверя, единорога (элемент шуваловского герба). Поэтому за орудиями надолго закрепилось название „единороги“.
17. *Ложемент* (фр. logement) — небольшой окоп для укрытия пехоты или орудия.

18. *Ералаш* — карточная игра.

19. *Траверс* (фр. traverse) — земляная насыпь поперек окопа или укрепления для защиты от флангового огня.

20. *Шварца редут* — редут № 1, названный по имени командира лейтенанта М.П. Шварца. Был построен в 1854 г. уже после высадки союзнического десанта в Крыму. На вооружении имел 8 крепостных 12-фунтовых пушек. Прикрывал пространство между 4-м и 5-м бастионами.

21. *Штуцерные пули* — пули от штуцера (от нем. Stutzen — букв. обрез) — ручного огнестрельного оружия с нарезами в канале ствола. Штуцер стал прообразом винтовки.

22. *Мерлон* (фр. merlon) — участок бруствера между двумя амбразурами или бойницами.

23. *Тотлебен* Эдуард Иванович (1818—1884) — граф, генерал-адъютант. Учился в Главном инженерном училище, но курса не кончил из-за болезни сердца. Служил на инженерных должностях в Риге и Петербурге, участвовал в войне на Кавказе. С началом Крымской войны был командирован в Главную квартиру Дунайской армии, где под руководством генерала К.А. Шильдера проводил подготовительные работы по осаде Силистрии. Позже, переведенный в Севастополь, Э.И. Тотлебен руководил возведением новых и восстановлением разрушенных оборонительных укреплений, за что в сентябре 1855 г. был назначен генерал-адъютантом.

24. *Фейерверкер* (нем. Feuer и Werker) — унтер-офицерский чин и должность в артиллерии русской армии и армиях некоторых других стран.

25. *Знак Военного ордена* (прав. знак отличия Военного ордена) — воинская награда нижних чинов русской армии. Учрежден в 1807 г. „для поощрения храбрости и мужества" солдат и унтер-офицеров. Серебряный крест знака с изображением в центре Георгия Победоносца носился на георгиев-

ской ленте. С 1856 г. имел четыре степени. С 1913 г. стал официально называться Георгиевским крестом.

26. *Венгерская медаль* — медаль за участие в Венгерской кампании 1849 г.

27. *Банкет* (фр. banquette) — насыпь с внутренней стороны бруствера для размещения стрелков, ведущих огонь поверх бруствера.

28. *Аппарель* (фр. appareil) — пологий спуск с барбета.

29. *Барбет* (фр. barbet) — земляная насыпь под орудие с внутренней стороны бруствера.

30. *Банк* (фр. banc) — низкий парапет или вал без бойниц.

31. *Армидино ложе* — Армида — героиня поэмы Торквато Тассо „Освобожденный Иерусалим“.

32. *Зуав* (фр. zouave) — военнослужащий легкой пехоты во французских колониальных войсках. Части зуавов формировались из жителей Северной Африки и французов-добровольцев.

33. *Тимофеев* Николай Дмитриевич (1799—1855) — генерал-майор. В 1816 г. окончил 1-й кадетский корпус. Служил в артиллерийских частях, участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 гг., подавлении Польского восстания 1830—1831 гг. В декабре 1839 г. награжден орденом Св. Георгия IV класса за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах. В Севастополе в октябре 1854 г. с Минским пехотным полком и четырьмя орудиями совершил удачную вылазку с 6-го бастиона против левого фланга союзников. Награжден орденом Св. Станислава I класса, а в январе 1855 г. удостоился ордена Св. Георгия III класса „в воздаяние отличного мужества и примерной храбрости, оказанных во все время командования первою оборонительною дистанциею Сева-

стополя, заключавшей в себе между прочим 5 и 6 бастионы“. В мае 1855 г., командуя войсками, штурмовавшими занятую французами Забалканскую батарею, генерал Тимофеев был ранен пулей в голову и через три дня скончался.

34. *Звонили уже к достойной…* — имеется в виду православная молитва „Достойно есть“, широко используемая в богослужении.

35. Вторая бомбардировка Севастополя началась 27 марта (8 апреля) 1855 г. и продолжалась десять дней.

36. *Ниэль* (Ниель, Niel) Адольф (1802—1869) — маршал Франции. С началом Крымской войны в чине дивизионного генерала отправился в качестве начальника инженеров в экспедиционный корпус генерала Барагэ д'Илье на Балтику, где участвовал во взятии Бомарзунда. После возвращения назначен адъютантом Наполеона III и в начале 1855 г. командирован в Крым. Под Севастополем сменил на посту командующего инженерными частями генерала Бизо.

37. *Наполеон* (Napoleon) III (Луи Напоеон, Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — император Франции (1852—1870).

38. *Канробер* (Canrobert) Франсуа (1809—1895) — маршал Франции. Долгое время служил в Алжире. С 1850 г. состоял адъютантом президента Французской республики Луи Наполеона, принял активное участие в государственном перевороте 2 декабря 1851 г. Участник Крымской войны. В сражении на Альме получил ранение. После смерти маршала Сент-Арно осенью 1854 г. принял главное командование над французскими войсками и оставался на этом посту до весны следующего года, когда был сменен маршалом Пелисье.

39. *Приезд великих князей…* — великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич прибыли в Севастополь в октябре 1854 г. накануне Инкерманского сражения, но вы-

нуждены были покинуть город из-за болезни матери. Вернулись в осажденный Севастополь они в феврале 1855 г.

40. Автор приводит слова Фамусова из 21-го явления III действия комедии А.С. Грибоедова „Горе от ума“.

41. *Ученый кант* (ученая выпушка) — узкий кант красного цвета шириной $^{1}/_{16}$ вершка, проходивший не только по верхнему, но и по нижнему краю воротника. Введен в августе 1809 г. для отличия офицерских мундиров пешей артиллерии от мундиров офицеров егерских полков. В феврале 1818 г. ученый кант появился на воротниках нижних чинов артиллерийских и инженерных частей. «Ученым» кант назывался потому, что подготовка офицеров и нижних чинов этих родов войск предполагала получение ими большего объема знаний по сравнению, допустим, с пехотой или кавалерией.

42. *Изделие Александровской мануфактуры* — в 1819 г. при Александровской мануфактуре Воспитательного дома в Санкт-Петербурге открылась карточная фабрика, осуществлявшая монопольный выпуск игральных карт.

43. „Гнуть карту“ — увеличивать ставку в карточной игре.

44. *Корабелка* (Корабельная сторона) — район Севастополя, расположенный на южном берегу Севастопольской бухты, к востоку от Южной бухты.

45. *Сапун-гора* — возвышенность к юго-востоку от Севастополя.

46. *Килен-балка* — самая протяженная (длиной в 5 километров) балка Севастополя. Впадает в Килен-бухту, где в старину „килевались“ (очищались от обрастаний — водорослей, ракушек) парусные суда.

47. *Сажень* — русская мера длины, равная 2,1336 м.

48. *Люнет* (фр. lunette) — открытое полевое укрепление, имеющее не менее 3 фасов.

49. *Георгиевская балка* — балка, впадающая в Севастопольскую бухту с юга, между Килен-балкой и устьем Черной речки.

50. Император Николай I скончался 18 февраля (2 марта) 1855 г.

51. *Архимед* (287 до н. э.—212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик и инженер.

52. *Ксенофонт* (не позже 444 до н. э.—не ранее 356 до н. э.) — древнегреческий политический деятель, полководец, писатель и историк.

53. *Фут* — мера длины, равная 30,48 см.

54. *Ландкарта* (нем. Landkarte) — географическая карта.

55. *Аршин* — русская мера длины, равная 71,12 см.

56. *Лазарев* Михаил Петрович (1788—1851) — адмирал, флотоводец и мореплаватель. После окончания Морского корпуса в 1805 г. произведен в мичманы. В 1813—1815 гг., командуя шлюпом „Суворов“, совершил кругосветное путешествие. В 1819 г. вместе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном на шлюпах „Мирный“ и „Восток“ достиг Южного полюса, став, таким образом, первооткрывателем Антарктиды. В 1827 г. в Наваринском сражении вступил в бой с пятью турецкими кораблями и одержал блестящую победу, за что был произведен в контр-адмиралы. С 1834 г. командующий Черноморским флотом. Награжден орденом Св. Георгия IV класса.

57. *Корнилов* Владимир Алексеевич (1806—1854) — вице-адмирал, герой обороны Севастополя. В 1823 г. окончил Морской кадетский корпус. Плавал на флагманском корабле

„Азов“. В чине мичмана принимал в 1827 г. участие в Наваринском сражении. В 30-х гг. XIX в. командовал рядом кораблей на Черном море. С 1851 г., являясь официально начальником штаба Черноморского флота, фактически командовал им. В годы Крымской войны был организатором обороны Севастополя. Во время первой бомбардировки города смертельно ранен на Малаховом кургане. Скончался 5 (17) октября 1854 г. Награжден орденом Св. Георгия IV класса.

58. *Истомин* Владимир Иванович (1809—1855) — контрадмирал, герой обороны Севастполя. В звании гардемарина в 1827 г. окончил Морской кадетский корпус и получил назначение на флагманский корабль „Азов“. За участие в Наваринском сражении награжден знаком отличия Военного ордена и произведен в мичманы. Служил на различных кораблях Балтийского и Черноморского флота. В 1845—1850 гг. участвовал в Кавказской войне в качестве офицера при кавказском наместнике М.С. Воронцове. Затем получил в командование 120-пушечный парусный корабль „Париж“, с которым участвовал в Синопском сражении 1853 г. В дни обороны Севастополя возглавлял защиту Малахова кургана и прилегающих укреплений. Выполнял обязанности начальника штаба при адмирале В.А. Корнилове. Награжден орденом Св. Георгия III класса. Убит ядром на Камчатском люнете 7 (19) марта 1855 г.

59. *Нахимов* Павел Степанович (1800—1855) – адмирал, герой обороны Севастополя. Воспитанник Морского кадетского корпуса. В 1822—1825 гг. под командованием М.П. Лазарева совершил кругосветное путешествие. Во время Наваринского сражения командовал батареей на корабле „Азов“, за отличие награжден орденом Св. Георгия IV класса. 18 (30) ноября 1853 г., командуя эскадрой, разгромил на Синопском рейде турецкий флот Осман-паши, за что удостоился ордена Св. Георгия II класса. Во время Севастопольской обороны с февраля 1855 г., после затопления кораблей, руководил защитой южной части города. Смертельно ранен пулей в голо-

ву 28 июня (10 июля) 1855 г. на Малаховом кургане. Скончался 30 июня (12 июля).

60. *Карсельская лампа* — лампа, в которой масло при помощи насоса с часовым механизмом из резервуара подается снизу вверх к светильне. Названа по имени изобретателя — Гийома Бертрана Карселя.

61. Имеется в виду картина К.П. Брюллова „Последний день Помпеи“, написанная в 1830—1833 гг.

62. *Конгревовы ракеты* (англ. Congreve rocket) — пороховые боевые ракеты, сконструированные в начале XIX в. англичанином Уильямом Конгривом. Различались 3-фунтовые, 6-фунтовые, 12-фунтовые и 32-фунтовые ракеты. В зависимости от размера обладали дальностью полета от 2 до 3 км.

63. *Демонтир батареи* — от фр. demonter — сбивать (орудие с позиции).

64. Имеются в виду морозы 1812 г.

65. *Лорд Раглан* — Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Раглан (Fitzroy James Henry Somerset, 1 st Baron Raglan) (1788—1855) — английский военачальник, фельдмаршал. С февраля 1854 г. командовал британскими войсками под Севастополем. Умер от холеры 28 июня (10 июля) 1855 г.

66. *Пелисье* (Pelissier) Жан Жак (1794—1864) — французский военачальник, маршал Франции, герцог Малаховский. Под Севастополем сначала командовал 1-м армейским корпусом, с весны 1855 г. возглавил все французские войска. Повел осаду города с удвоенной энергией. Первый штурм, предпринятый Пелисье, был отбит защитниками Севастополя, однако во время второго штурма союзники взяли Малахов курган, что отдало город в руки осаждавших.

67. *Потерна* (фр. poterne) — подземный коридор или галерея для сообщения между фортификационными сооружениями.

68. *Эскарп* (фр. escarpe) — сторона оборонительного рва, обращенная к противнику. Противоположная эскарпу сторона называется контрэскарпом.

69. *Камуфлет* (фр. camouflet) — взрыв под землей, имеющий целью разрушить подземные ходы противника.

70. *Клокачев* Федот Алексеевич (1732—1783) — вице-адмирал, российский государственный деятель, первый командующий Черноморским флотом. 2 (13) мая 1783 г. привел 11 кораблей Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту, положив, таким образом, начало флоту на Черном море.

71. *Меккензи* Фома Фомич (Томас Макензи, Thomas MacKenzie) (1740—1786) — шотландец на русской службе, российский контр-адмирал, основатель Севастополя.

72. *Екатерина II* (1729—1796) — императрица Всероссийская в 1762—1796 гг.

73. *Троя* (другое название Илион) — древнее укрепленное поселение в Малой Азии у побережья Эгейского моря, недалеко от входа в пролив Дарданеллы. Воспета Гомером в поэме „Илиада".

74. *Цейхвахтер* (нем. Zeugwachter) — классный чиновник военного и морского ведомств, заведовавший предметами и материалами по артиллерийской и инженерной частям.

75. *Хрулев* Степан Александрович (1807—1870) — генерал-лейтенант, герой обороны Севастополя. Окончил тульское Александровское училище и был выпущен в артиллерию. Участник Польской 1830—1831 гг. и Венгерской 1849 г. кампаний, похода против Кокандского ханства (1853). С началом Крымской войны командирован в Дунайскую ар-

мию, затем состоял при главнокомандующем морскими и сухопутными силами князе А.С. Меншикове. С марта 1855 г. руководил обороной юго-восточной части Севастополя, а с июня — обороной Корабельной стороны. Отличался мужеством и умелым руководством войсками. Во время штурма города в августе 1855 г. серьезно ранен в левую руку. Награжден орденом Св. Георгия III класса.

76. *Контр-апроши* (фр. contre-approches) — оборонительные сооружения, возводившиеся осажденными войсками для противодействия продвижению атакующего противника укрытыми ходами (апрошами) к обороняемым позициям.

77. Имеется в виду генерал-адъютант князь М.Д. Горчаков, который в феврале 1855 г. сменил на посту главнокомандующего князя А.С. Меншикова.

78. *Семякин* Константин Романович (1802—1867) — генерал от инфантерии. В 1820 г. выпущен из 2-го кадетского корпуса прапорщиком в пешую артиллерию. Участник Русско-турецкой войны 1828—1829 гг., Польской 1830—1831 гг., и Венгерской 1849 г. кампаний. В начале Крымской войны в Дунайской армии состоял при князе М.Д. Горчакове, в сентябре со своей бригадой прибыл в Крым. 13 октября отличился при взятии неприятельских редутов под Балаклавой, где был контужен. Награжден орденом Св. Георгия III класса. Провел в осажденном Севастополе около 10 месяцев, командуя различными частями оборонительной линии, проявляя храбрость, хладнокровие, распорядительность. Два его сына, зачисленные на службу юнкерами, всю осаду провели на 5-м бастионе. Оба награждены знаками отличия Военного ордена.

79. *Васильчиков* Виктор Илларионович (1820—1878) — князь, военный и государственный деятель, генерал-адъютант. В 1839 г. выпущен из Пажеского корпуса корнетом в лейб-гвардии Конный полк. В 1842—1844 гг. принимал участие в экспедициях против горцев на Кавказе. Во

время Крымской войны занимал пост начальника штаба Севастопольского гарнизона. Много сделал для улучшения работы госпиталей и облегчения участи раненых и больных. Одним из последних оставил Севастополь.

80. *Адлерберг* Александр Яковлевич (1806—1855) — генерал-майор, командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии. Награжден орденом Св. Георгия IV класса за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах. Погиб в мае 1855 г.

81. Имеется в виду юнкер Орловского пехотного полка Николай Александрович Адлерберг (1837—1855).

82. *Праздник Св. Троицы* — один из главных христианских праздников. Празднуется на 50-й день после Пасхи, отсюда другое его название — Пятидесятница.

83. *Фашины* (нем. Faschine, от латин. fascis — связка прутьев, пучок) — связки хвороста. Применялись для заполнения рвов.

84. *Заливкин* Александр Петрович (1810—1875) — генерал-лейтенант. Окончил 1-й кадетский корпус, выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 гг. и в войне на Кавказе. В 1847 г. награжден орденом Св. Георгия IV класса. Во время Крымской войны сначала сражался в рядах Дунайской армии, затем в Севастополе командовал сухопутными войсками Корабельной стороны, руководил отражением штурмов и предпринимал дерзкие вылазки.

85. *Ганшпиг* (ганшпуг, аншпуг, нем. Handspacke) — деревянный или металлический рычаг, используемый для изменения положения тяжестей (например, парусов на кораблях), для доворота орудийного станка или изменения угла возвышения ствола орудия.

86. Имеется в виду генерал-адъютант Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1789—1881).

87. Генерал Брюне (Brunet) был убит во время первого штурма Севастополя 6 (18) июня 1855 г.

88. Горжа (фр. gorge) — тыльная часть укрепления.

89. Так автор называет блох.

90. *Кремальер* (фр. cremaillere) — небольшой выступ в укреплении.

91. *Керн* Федор Сергеевич (1817—1890) — адмирал. В 1835 г. мичманом окончил Морской корпус и получил назначение на Черноморский флот. Командовал рядом кораблей. В качестве командира парохода „Одесса" участвовал в Синопском сражении, за которое получил чин капитана II ранга. После высадки союзников у Балаклавы назначен начальником 4-й оборонительной линии и Малахова кургана. Получил контузию и ранение в голову. Награжден орденом Св. Георгия III класса.

92. *Батарея Жерве* — батарея № 6, располагавшаяся между Малаховым курганом и Доковым оврагом. Названа по имени командира, мичмана (с весны 1855 г. лейтенанта) П.Л. Жерве (1829—1907), награжденного орденом Св. Георгия IV класса.

93. *Гюббенет* Христиан Яковлевич (1822—1873) — врач. Выпускник Дерптского университета. С 1850 г. профессор хирургии Киевского университета Св. Владимира. Всю осаду Севастополя провел в городе, заведуя госпиталями левого фланга.

94. *Алектор* (греч.) — петух.

95. *Кокора* — бревно с корневищем, коряга.

96. *Оскреток* — зд. осколок.

97. *Колтовский* — лейтенант, адъютант адмирала Нахимова.

98. *Брандскугель* (от нем. Brand — пожар, Kugel — ядро) — зажигательный снаряд корабельной гладкоствольной артиллерии, представлявший собой начиненное зажигательным составом пустотелое ядро с отверстиями. Вышел из употребления с появлением нарезной артиллерии.

99. *Сапа* (фр. sape) — способ отрытия траншей, рвов или тоннелей для приближения к укреплениям противника.

100. *Мантелет* (фр. mantelet) — большой щит на колесах, использовавшийся при осадных работах для защиты саперов от ружейного огня.

101. *Бухмейер* Александр Ефимович (1802—1860) — генерал-лейтенант, военный инженер. Службу начал в 1819 г. юнкером в лейб-гвардии Саперном батальоне. Участвовал в русско-персидской 1826—1828 гг., Русско-турецкой 1828—1829 гг. войнах и Польской кампании 1830—1831 гг. В 1838 г. награжден орденом Св. Георгия IV класса за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах. В дни обороны Севастополя первый оценил способности Э.И. Тотлебена и рекомендовал его князю Горчакову. В последние дни осады русские саперы под руководством А.Е. Бухмейера совершили уникальную в инженерном деле того времени работу: в короткий срок построили через Севастопольскую бухту 900-метровый плавучий мост из бревен. По нему в ночь на 28 августа (9 сентября) 1855 г., после взятия союзниками Малахова кургана, защитники города беспрепятственно отошли на Северную сторону, сорвав, таким образом, план неприятеля пленить или уничтожить русскую армию.

102. *„Дюссо“* — знаменитая в XIX в. московская гостиница с великолепным рестораном.

103. *Преосвященный Иннокентий* — возможно, имеется в виду архиепископ Херсонский и Таврический, во время Крымской войны находившийся в Севастополе.

104. *Сосис* (фр. saucisse) — кишка из смоленой холстины, начиненная порохом.

105. *Берг* Николай Васильевич (1823—1884) — поэт, журналист, переводчик. В 1853 г. в качестве корреспондента отправился в Севастополь и до конца осады состоял при штабе главнокомандующего в должности переводчика. Участвовал в сражении при Черной речке. Итогом его участия в Крымской войне стали „Записки об осаде Севастополя“ и „Севастопольский альбом“ с 37 рисунками.

106. *Буссау* Вильгельм Христофорович фон (?—1855) — генерал-майор. Военную службу начал в 1817 г. в армейской пехоте. Участвовал в русско-персидской 1826—1828 гг., Русско-турецкой 1828—1829 гг. войнах и Венгерской кампании 1849 г. За 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах награжден орденом Св. Георгия IV класса. Во время Крымской войны командовал 2-й бригадой 15-й резервной пехотной дивизии, был комендантом Малахова кургана. Убит при отражении штурма Севастополя англо-французами 27 августа (8 сентября) 1855 г.

107. *Сабашинский* Адам Осипович (1800—1870) — генерал-лейтенант. Военную службу начал в 1818 г. подпрапорщиком в Тамбовском пехотном полку и через два года получил первый офицерский чин. Участвовал в Русско-турецкой войне1828—1829 гг., Польской 1830—1831 гг. и Венгерской 1849 г. кампаниях. Тогда же был назначен командиром Селенгинского пехотного полка. С этим полком в 1854 г. прибыл в Севастополь и оставался в городе до конца осады. Оборонял сначала 3-й, затем 1-й и 2-й бастионы. Отличился при отражении общего штурма Севастополя союзниками 27 августа (8 сентября) 1855 г. Награжден орденом Св. Георгия III класса.

108. *Фрейнд* Константин Сергеевич (1815—1855) — полковник, командир Прагского резервного пехотного полка. Смертельно ранен во время штурма Севастополя 27 августа (8 сентября) 1855 г.

109. *Деплоировать* (фр. deployer) — перестраивать войска из глубокого сомкнутого строя в развернутый.

110. *Воейков* Платон Александрович (1828—1855) — ротмистр. Окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и был выпущен в лейб-гвардии Конный полк. В 1851 г. пожалован во флигель-адъютанты. 27 августа (8 сентября) смертельно ранен при отражении штурма Севастополя союзниками.

111. *Якимах* Алексей Абрамович (1805—1866) — генерал-лейтенант. В службу вступил в 1821 г. в 13-ю артиллерийскую бригаду. Во время Крымской войны был командирован в распоряжение главнокомандующего для переформирования батарей шести пехотных корпусов из 12-орудийного состава в 8-орудийный. Участвовал в сражениях на Черной речке и на Федюхиных высотах. За отличия при обороне Севастополя награжден золотой полусаблей с надписью „За храбрость“.

112. *Шепелев* Александр Иванович (1797—1872) — генерал-лейтенант. Службу начал в 1814 г. в Курском пехотном полку. Участник русско-персидской 1826—1828 гг., Русско-турецкой 1828—1829 гг. войн и Польской кампании 1830—1831 гг. Во время Крымской войны командовал 4-й пехотной дивизией, пехотным резервом русской армии. При штурме Севастополя 27 августа (8 сентября) возглавил все войска Корабельной стороны. Одним из последних оставил город. Награжден орденом Св. Георгия IV класса.

113. *Дебушировать* (фр. deboucher) — выходить (из узкого места на более широкое пространство).

114. *Понт Эвксинский* — древнегреческое название Черного моря (букв. гостеприимное море).

Именной указатель

М

Н

П

Р

С

Т

Ф

Х

Ш

СОДЕРЖАНИЕ

Ершов Андрей Иванович

Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера

Сочинение в семи тетрадях

На обложке: фрагмент гравюры неизвестного художника «Перспектива города, гавани и укреплений Севастополя» (1850-е гг.)

Подписано в печать 02.07.2015. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уч.- изд. л. 10.0. Тираж 500 экз. Заказ № 8. Цена договорная.

Издательство: Государственная публичная историческая библиотека России, 2015.
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.
Типография ГПИБ.


ISBN 978-5-85209-362-2
9 785852 093622 >